

Леонид
Юзефович

Журавля
и
карлика

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР»

Леонид Юзефович
Журавли и карлики

«АСТ»

2009

Юзефович Л. А.

Журавли и карлики / Л. А. Юзефович — «АСТ», 2009

ISBN 978-5-17-056486-6

В основе нового авантюрного романа Леонида Юзефовича, известного прозаика, историка, лауреата премии «Национальный бестселлер» – миф о вечной войне журавлей и карликов, которые «через людей бьются меж собой не на живот, а на смерть». Отражаясь друг в друге, как в зеркале, в книге разворачиваются судьбы четырех самозванцев – молодого монгола, живущего здесь и сейчас, сорокалетнего геолога из перестроечной Москвы, авантюриста времен Османской империи XVII века и очередного «чудом уцелевшего» цесаревича Алексея, объявившегося в Забайкалье в Гражданскую войну.

ISBN 978-5-17-056486-6

© Юзефович Л. А., 2009

© АСТ, 2009

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	19
Глава 3	33
Глава 4	43
Глава 5	52
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Леонид Юзефович Журавли и карлики

Глава 1 Двойник

1

Последний отрог Хэнтейской гряды, Богдо-ул несколькими могучими кряжами окружает Улан-Батор с юга. Гора считается священной, на ней издавна запрещалось охотиться, рубить лес и ставить юрты, но полвека назад при входе в одно из ущелий хозяйственное управление ЦК МНРП построило спецгостиницу «Нюхт». По-монгольски это значит «звериная нора», «логово». Когда-то сюда привозили делегатов партийных съездов, участников международных конференций и закрытых совещаний, а теперь пускали всех желающих. Осенью 2004 года Шубин с женой снимали здесь номер. До центра города было восемь километров и четыре тысячи тугриков на такси. Тысяча тугриков составляла чуть меньше доллара.

Номера отремонтировали в расчете на туристов, но коридоры и холлы хранили дух минувшей эпохи. Зеленые, с интернациональным орнаментом на темно-красной кайме, ковровые дорожки лежали на этажах, ресторан украшала настенная чеканка с изображением верблюдов, лошадей, коров и овец в комплекте со всем тем, что кочевое животноводство может дать человеку при социализме. Пейзаж за окнами вряд ли сильно изменился со времен Чингисхана.

Стоял сентябрь, в прозрачном воздухе нагорья гребень Богдо-ула отчетливо рисовался на фоне холодного ясного неба. Снизу Шубин мог различить на нем силуэт каждого дерева. На склонах, среди темной зелени хвойных, причудливыми желто-красными разводами выделялись участки еще не облетевшего осинника. Березовая чепора у подножия была буро-желтой. Бумажный шум увядшей листвы и ровный звон травяных дудок, в которых высохли все соки, явственно слышались при слабом ветре. Если задувало сильнее, все заглушал протяжный мощный гул, идущий по вершинам кедров и сосен.

Туристский сезон заканчивался, в «Нюхте» жили только десятка полтора молодых монголов и монголоков, по трое в двухместных номерах. При них состояли двое норвежских, как жене сказали на рецепции, миссионеров с профессионально улыбчивыми лицами и легкой походкой здоровых мужчин, привыкших быть на людях. Шубин отметил евангельскую простоту их трикотажных свитеров и линялых джинсов. Они обращали туземцев в лоно какой-то протестантской церкви. Днем в конференц-зале проходили семинары, а вечерами в дощатом павильоне ближе к ущелью дымила жестяная печка, норвежцы со своими учениками собирались на барбекю, жарили колбаски, надували воздушные шарики и пели по-английски. Под крышей, в гирляндах искусственного плюща, горели разноцветные лампочки. Женщины крутили хулахуп, мужчины хлопали в ладоши. Все было очень прилично. Настоящая ночная жизнь с водкой и шастаньем из номера в номер начиналась потом, когда пастыри засыпали.

На третий день вечерние развлечения в павильоне затянулись за полночь, а наутро Шубин с женой остались в гостинице одни. Норвежцы с рассветом отбыли в аэропорт, монголы после завтрака уехали в город. Официантка сказала, что каждый напоследок получил пакет с фирменной майкой и какой-то конвертик. По ее мнению, в нем находилась энная сумма в долларах, но от горничной жена узнала, что там лежал всего лишь талон с правом на скидку в

одном из столичных пивбаров. После захода солнца он превращался в ночной клуб, где голые девушки танцевали рядом с позолоченной статуей Сталина. Двадцать лет назад, когда Шубин приезжал сюда собирать материалы для диссертации о работавших в Халхе русских эпидемиологах, эта статуя стояла у входа в Республиканскую библиотеку. В ночной клуб ее занесло волной недавних событий. Здесь она лишилась пьедестала, зато заново была покрыта жирной бронзовой краской.

Из окна Шубин видел, как новообращенные шумной компанией садились в автобус. Все выглядели довольными, главным призом стал для них бесплатный отдых с трехразовым питанием в очень недурном ресторане и практикой в разговорном английском. Перед отъездом они цинично избавились от оставленной им для самоподготовки специальной литературы. Ею были забиты все гостиничные урны. Из одной Шубин выудил распечатанное на принтере пособие по экзорцизму, настолько политкорректное по отношению к нечистой силе, что не понятно было, зачем вообще нужно с ней бороться. Текст сопровождался схемами с изображением различных состояний души. В разрезе она выглядела как ряд концентрических кругов, разбитых на сектора и сегменты и по-разному заштрихованных в зависимости от степени поражения их бесами.

В конце каждой главы авторы приводили случаи из собственной практики в странах Юго-Восточной Азии.

Все истории были адаптированы к местным условиям и напоминали сказки для умственно отсталых детей. Начинались они как английские лимерики: «Одна юная леди в Гонконге...», «Один бизнесмен в Шанхае...», «Дочь одного владельца отеля в Таиланде...». Эти люди тяжело страдали недугами неизвестной этиологии, пока с помощью авторов брошюры у них не открывались глаза на то, что причиной болезни являются демоны, наивно почитаемые ими как духи предков или божества буддийского пантеона. Рассадником заразы часто служили домашние алтари, но физическое уничтожение идолов не рекомендовалось. Достаточно было просто отвернуться от них, чтобы они потеряли свою вредоносную силу.

Скоро Шубин с женой на пару дней уехали из Улан-Батора, а по возвращении застали в «Нюхте» другой семинар. Его проводили корейцы в строгих черных костюмах. Жена приняла их за мунистов, а они оказались правоверными католиками. Паству составляли монголы на вид победнее и постарше, чем у норвежцев, но среди них Шубин с удивлением узнал одного из членов предыдущей партии, молодого мужчину с хорошо вылепленным подвижным лицом. За ужином в ресторане он тоже пару раз посмотрел на Шубина и позже, когда тот курил на крыльце, заговорил с ним по-русски.

Его звали Баатар, за плечами у него был пединститут в Донецке. Сейчас он зарабатывал тем, что летом возил по стране туристов, а зимой работал в мастерской по ремонту холодильников. Мясо здесь поставляет столичным жителям степная родня, в городской квартире его нужно как-то хранить, и местные мастера давно научились превращать импортные холодильники в сплошные морозильные камеры. Баатар был из этих умельцев.

– Семья у меня небольшая, жена и дочь. Питаемся рационально, едим овощи, – сказал он не без гордости за свой западный менталитет. – За зиму съедаем только трех овец, бычка и лошадь.

Подожли к вопросу о том, зачем Шубин приехал в Монголию. Тайны тут никакой не было, его командировал сюда один богатый туристический журнал, способный позволить себе имиджевый материал о прекрасной нишей стране, куда никто не хочет ездить в отпуск. Ему оплатили билеты и гостиницу, а жену он взял с собой за свой счет.

Выслушав, Баатар вежливо покивал, но, чувствовалось, не поверил. Должно быть, он считал это легендой прикрытия, маскирующей дела гораздо более серьезные. Времена изменились, люди из Москвы приезжали теперь в Улан-Батор с единственной целью – продать что-нибудь из того, что они же раньше привозили сюда бесплатно или в обмен на то, чего у самих было

вдоволь. В благодарность их накачивали водкой, снабжали бараниной для семейства, услаждали народными танцами и горловым пением. Все это стало такой же архаикой, как значки и открытки времен Цеденбала, которыми нищие старики соблазняли туристов на площади Сухэ-Батора. За все нужно было платить, но понятие о твердых ценах плохо приживалось в стране, где тезис о том, что мягкому суждено жить, а твердому – умереть, впитывается с молоком матери. Это был мир ярких красок, четких линий и туманных деловых отношений с опорой на обман и взаимное доверие.

Баатар стал нащупывать подходы к этой волнующей теме. Обсудили сравнительные цены на продукты, стоимость железнодорожных билетов, нравы таможенников. Ему явно хотелось выяснить, не найдутся ли у них с Шубиным обоюдовыгодные интересы, но предпосылки для такого разговора еще не созрели. Тема требовала повышенной деликатности, поэтому начал он издадека:

– У меня много знакомых бизнесменов, зовут к себе в дело, но я не иду. Хочу работать с русскими или с немцами. Наши – все жулики.

– У вас тут полно китайских фирм, – сказал Шубин. – Китайцы тоже жулики?

– Нет, но с ними опасно. Что-нибудь не так сделаешь, могут убить.

– А монголы не могут?

– Редко бывает. Мы – мирный народ.

Ветер утих, даже карликовые березки не шелестели своей невесомой листвой. Лишь от входа в ущелье доносился слабеющий звон сухой травы. Там проходил последний арьергард утренней бури. Карагана, горный чий и окостеневший от утренних заморозков дудник звучали в унисон. Темная громада Богдо-ула оставалась безмолвной. Восемь столетий назад в его чащобах и норах прятался от меркитов юный Темучин.

– Как же у вас Чингисхан-то появился? – спросил Шубин.

– Тогда убивать можно было, а воровать нельзя. Теперь мы все буддисты, – объяснил Баатар, забыв, похоже, зачем он здесь находится.

В его тоне слышалось трезвое осознание того факта, что по мере развития цивилизации падение нравственности неизбежно.

– У нас в степи, – добавил он, – люди каждую неделю скот режут, а детям кровь не показывают. Дети до семи лет крови вообще не видят.

В конце концов общий интерес все же нашелся. Шубин упомянул, что они с женой собираются в Эрдене-Дзу, и Баатар вызвался свозить их туда на своей «хонде», когда закончится семинар. Напоследок корейцы обещали слушателям подарки. Поездка стоила того, чтобы потратить на нее три дня и две ночи. Первый в Халхе буддийский монастырь, Эрдене-Дзу славился сказочной красотой, к тому же стоял на руинах Каракорума, недолговечной имперской столицы Чингисхана и Угэдэя. Шубин с юности мечтал увидеть этот мертвый город, но в советское время так до него и не добрался. Сейчас, после распада другой империи, его развалины должны были вызывать совсем иные чувства, чем тогда.

– Дешево, конечно, – согласилась жена, узнав, что за трехдневное путешествие Баатар просит всего двести тысяч тугриков, включая бензин, – но не нравится он мне. Если завтра сюда приедут ваххабиты или вудуисты с Гаити, он и к ним примажется.

– Чего ты хочешь? – вступился за него Шубин. – Бедная страна, люди выживают как могут. А он, между прочим, чингизид.

– То есть?

– Из князей. В нем есть кровь Чингисхана.

– Еще прирежет по дороге, – сказала жена, залезая в постель.

Утром, как обычно, они спустились на завтрак в ресторан. Корейцы уже сидели за столом и ели свою морковку. Монголы явились позднее. Им принесли большие порции мяса. Баатар взял свою тарелку и пересел с ней за корейский овощной стол. Никто его туда не приглашал, но

скоро Шубин слышал, как он довольно бойко говорит с соседями по-английски. Две или три уловленных фразы дали представление о теме разговора. Речь шла об организации следующего семинара в другом месте и на более выгодных для устроителей условиях.

– Тебе он никого не напоминает? – спросила жена.

Вопрос был рутинным, ей всюду мерещились двойники. Знаменитые актрисы обнаруживали сходство с кем-то из ее подруг или родственниц, игрушечная обезьяна и плюшевый енот, в память о детстве сына сидевшие за стеклом в серванте, смахивали на известных политиков, даже платяной шкаф вдруг оказывался похож на соседку с девятого этажа. Всему на свете находилась пара, но не понятно было, является ли одно копией другого, или это две разные копии неизвестного оригинала, таинственно тяготеющего к умножению своей сущности.

Баатар сидел к ним лицом. При утреннем свете Шубин заметил, что волосы у него не иссиня-черные, как почти у всех монголов, а темно-русые. В разговоре он с умным видом морщил лоб, при этом левая бровь ползла вверх отдельно от правой. Наверняка за ним водилось умение двигать ушами и шевелить шляпу у себя на голове.

– Черно-рус, лицо продолговатое, одна бровь выше другой, нижняя губа поотвисла чуть-чуть, – процитировала жена. – Если бы не разрез глаз, типаж тот же.

Шубин знал, кого она имеет в виду, но сам подумал совсем о другом человеке. Жена никогда его не видела.

Баатар почувствовал, что говорят о нем, приятельски помахал им рукой, дождался ответного приветствия и, понизив голос почти до шепота, продолжил беседу. Вероятно, он выдавал Шубина за бизнесмена из России, который имеет с ним дело как с человеком надежным, не жуликом, в отличие от большинства монголов. Такое знакомство могло обеспечить ему дополнительный кредит у корейцев.

Это вернуло Шубина к мысли о том человеке. Его лицо всплыло в памяти так ясно, будто виделись вчера, а не одиннадцать лет назад.

Был 1993 год, март. Мраморный пол подземного перехода покрывала разъедающая ботинки талая слякоть, вдоль стен плотными шеренгами стояли лотошники. Нищие были вытеснены на фланги, лишь безногая девушка с ангельским лицом и червонно-золотой шпалерой советских значков на груди занимала свое законное место у поворота к дверям метро, откуда до нее докатывались волны теплого воздуха. Она сидела на старинной инвалидной тележке с подшипниками вместо колес, крест-накрест пристегнутая к ней двумя ремнями поверх непромокаемых штанов из черного кожзаменителя. Шубин проходил здесь почти каждый день и знал, что эта нищенка опекает музыкантов, из любви к искусству жертвуя им часть того милосердия, которое причиталось ей самой. Подопечные менялись, когда меценатше приедался их репертуар.

Сейчас рядом с ней мальчик лет десяти играл на скрипке-половинке «Мелодию» Глюка, так странно преображенную акустикой этой каменной трубы, что Шубин не сразу ее узнал. Беспокойная мама, нависая над скрипачом, поправляла на пюпитре ноты. Это, видимо, требовалось не ему, а ей, чтобы не чувствовать себя лишней. Перед ними лежал раскрытый скрипичный футляр, похожий на узкокрылую безголовую бабочку. На синем бархате подкладки врасыпную серебрилась мелочь. Ее было немного, и желто-белая сторублевая монета упала туда беззвучно. Совершенством чеканки она искупала свою убывающую с каждым днем ценность.

Ее бросил молодой мужчина в застиранных джинсах и куртке под замшу. Шубин где-то видел его раньше, но не помнил, где и когда и точно ли его, а не кого-то похожего. Теперь на многих лицах появилась печать времени, скрывшая под собой все то, чем они различались прежде.

Взамен сторублевки мужчина выудил из футляра монетку помельче.

– Позвонить. Не возражаете?

Мама не ответила, мальчик продолжал играть с профессиональной отрешенностью уличного музыканта. Пустым взглядом, манерой держаться он напоминал слепца. Казалось, в нем ожила память о том, что человек, смычком зарабатывающий себе на хлеб, должен быть незрячим, и он бессознательно подчинился этому древнему закону. Таких законов теперь было много. Они выплыли из тьмы столетий и опять вступили в силу с началом эры реформ.

Мужчина тоже взглянул на Шубина. Левая бровь у него поползла вверх.

– Не узнаешь? Я – Жохов, – улыбнулся он, и Шубин сразу вспомнил, где они встречались.

Это было в другой жизни. В гостях у общего приятеля случайно обнаружилось, что оба бывали в Монголии. Жохов работал там не то геологом, не то горным инженером. Слова «буддизм» и «вольфрам» на равных фигурировали в его рассказах, один из которых почему-то засел в памяти. Как-то раз он ночевал в юрте, и рано утром, когда все еще спали, а ему срочно требовалось отлить, страшно было выйти на воздух из-за бродивших вокруг юрты жутковатых монгольских собак. Будить гостеприимных хозяев Жохов стеснялся. «Мой мочевого пузырь сжал зубы», – смеясь, говорил он. Вспомнилась даже интонация этой идиотской фразы.

Отошли в сторону, чтобы не заслонять скрипача. Мимо них двумя встречными потоками текла угрюмая московская толпа.

– На смычок, – заговорил Жохов таким тоном, будто его об этом спросили, – конский волос идет только белый, но от кобылы нельзя. У нее на хвост моча попадает, звук не тот. Нужен от жеребца. Большой дефицит по нынешним временам. Казахи как от нас отделились, всех лошадей в степь угнали. Проще из Монголии возить... Ну, я пошел, меня тут ждут наверху.

Он улыбнулся и поплыл над слякотью в своих небесно-голубых джинсах, легкий, как пух от уст Эола. На прощание его сжатый кулак в рот-фронтском приветствии взлетел вверх. Этот реликтовый жест времен детства их родителей Шубин тоже за ним помнил.

Ему нужно было на другую сторону улицы. Там все выходы из метро облепили ларьки, сбитые из панельных щитов или грубо сваренные из листового железа. В раскраске доминировали ярко-синий, оранжевый и красный, как в брачном оперении у самцов. Кругом кипела толпа, дымились мангалы шашлычников, откуда-то лихо неслась музыка. Милиционеры шныряли мимо с таким видом, что если бы не форма, их можно было принять за карманников.

На тротуарах вереницами стояли люди с вещами, какие раньше продавались только на барахолке. Зарплаты и пенсии требовалось немедленно обратить в доступные материальные ценности, чтобы тут же их продать, на вырученные деньги что-то купить, снова продать и жить на разницу, иначе все сжирала инфляция. Москва превратилась в гигантский комиссионный магазин под открытым небом. Ельцин с высокой трибуны дал отмашку свободно торговать чем угодно практически в любом месте, но не всем хватало энергии крутиться в этом колесе. На дно жизни опускались за несколько недель. Шубин еще барахтался и обострившимся зрением отличал себе подобных по жалкой штучности их товара и выражению мнимого равнодушия на лицах, которым они надеялись обмануть судьбу, когда рядом замедлял шаги кто-то из потенциальных покупателей. У него самого делалось такое лицо, если наклеивался какой-нибудь заработок.

Иногда среди нескончаемых блузочек, свитеров и кофт маняще вспыхивала импортная нержавейка, чернел японский магнитофон или кухонный комбайн сановно выходил из коробки со свитой сменных насадок и многостраничными инструкциями. Владельцы этих предметов казались Шубину богачами. У них с женой ничего такого никогда не было, а теперь уже и быть не могло. Их кот с минтая перешел на мойву, фрукты береглись для шестилетнего сына. Шубин научился стричься сам, чтобы экономить на парикмахерской. При этом соблазны множились день ото дня. Вокруг появились магазины, куда жена в своей старой кроличьей шубке не решалась заходить.

Она преподавала фортепиано в музыкальной школе, осенью ее зарплаты хватало им на неделю, сейчас – на три дня. Спасали частные ученики, но их становилось все меньше. Шубин зарабатывал копейки. Из всех его коммерческих начинаний, включая попытки издавать книги по дрессировке бойцовых собак и возить из Индии неклеяменное серебро, выгорело единственное – на Измайловском рынке удалось выгодно продать оставшийся от незамужней двоюродной бабки орден Ленина. Оказалось, что четырехзначный номер на его оборотной стороне свидетельствует о наличии в нем каких-то драгоценных сплавов. Бабку наградили еще до войны, в то время на расходные материалы не скупилась. Хорошо, покупатель попался честный. Сам Шубин от него все и узнал, но утаил от жены подробности сделки. В ее глазах хотелось выглядеть деловым человеком.

Один раз его окликнули:

– Эй, борода!

Зашуршала, разворачиваясь перед ним во всю красу, самошитая камуфляжная куртка. Он покачал головой. Продавец сменил зазывный тон на пророческий:

– Смотри, пожалеешь! Камуфляж входит в моду.

Впервые Шубин услышал это позапрошлым летом – от таксиста, который вез его в аэропорт и по дороге пытался толкнуть ему такие же пятнистые штаны с корявой молнией и карманами в самых бессмысленных местах. Тогда он посмеялся, а позднее не мог отделаться от чувства, что в Абхазии, Карабахе и Приднестровье тоже все начиналось с моды на камуфляж. Она возникала как первый слабый дымок еще не видимого пожара.

Ряды торговцев растянулись метров на триста от метро. Над ними висел плотный гул. Долетавшие до Шубина обрывки разговоров трактовали одну тему: что сколько стоило вчера, сколько стоит сегодня и будет стоить завтра. Вдруг вознесся одинокий женский голос:

– Нет сахара! Кооперативы весь сахар скупил!

При революциях этот продукт всегда исчезал первым, словно его вкус и цвет были несовместимы с новой жизнью.

2

Из подземного перехода Жохов поднялся на улицу. Здесь было так же слякотно, промозглая московская зима, отступая, на последнем рубеже обороны оставила только два цвета – черный и серый.

Те, кому он назначил тут встречу, еще не появились. Монетка, выуженная в скрипичном футляре, скользнула в щель таксофона, палец привычно прошелся по кнопкам набора.

– Марик, ты?.. Есть минутка?.. Мы тогда не договорили, сейчас я тебе объясню. Схема элементарная. Ты, значит, обналичиваешь им эту сумму, на разницу берем вагон сахарного песка и гоним его в Шнеерсонск... Н у, я так Свердловск называю... Потому что у Свердлова настоящая фамилия была Шнеерсон... Не знаю, мне говорили, что Свердлов – его партийный псевдоним... Чего ты взъелся? Еврейский вопрос меня вообще не интересует, спроси у Гены... Хорошо, пускай Екатеринбург. Мне там приятель устраивает бартер, просит всего три процента. Отдаем сахар, забираем эти бронежилеты... Я же тебе рассказывал! Значит, берем их и везем в Москву. Я тут выхожу на одну охранную структуру, они очень заинтересованы... Понял. Жду звонка.

Глухой торец дома, возле которого он стоял, на два метра от земли был сплошь оклеен квиточками объявлений. Одно из них привлекло его внимание. Оно извещало: «Меняю электрическую кофеварку на импортные мужские ботинки, разм. 43». Внизу нетронутой бахромой топорщились бумажные хвостики с телефонным номером. Жохов оторвал крайний, сунул его в карман и вернулся к таксофону. Посматривая по сторонам, достал еще монетку, позвонил опять.

– Алё! Учительская? Елену Михайловну, пожалуйста... Лена, это я. Тебе сахар нужен?.. Погоди-погоди, сначала выслушай! Я тебе предлагаю мешок сахарного песка... Ты что, не собираешься варить варенье на зиму? Лельке нужны витамины... Да не на эту зиму, эта уже кончается.

Шестилетнюю дочь он не видел с Нового года. Осенью ходили с ней в зоопарк, тепло ее ручонки, лежавшей в его руке, через предплечье, по плечу и груди затекало прямо в сердце. Оба молчали, потому что не нуждались в словах. Каждый палец и каждая фаланга на пальце служили тайной азбукой, понятной им одним. Любое прикосновение имело свой смысл – от восхищения красотой порхающих по вольере райских птиц до желания пописать.

Их встречи прекратились после того, как тещу осенила идея, что Жохов, раз он такой крутой бизнесмен, свидания с дочерью должен оплачивать в валюте, по десять долларов за час пребывания вне дома. Эту цену она считала разумной. Брать Лельку напрокат по твердой таксе казалось унижительно, к тому же с зимы стоимость даже часовой прогулки составляла для него неподъемную сумму. Теща, в прошлом школьный завуч по воспитательной работе, ни на какие уступки не шла, а жена во всем ей поддакивала.

Бесплатно ему разрешался один телефонный разговор в неделю. Говорить по телефону дочь не желала, соглашалась только на сказки. Жохов придумал для нее волшебную страну Свинляндию, населенную человекоподобными хрюшками, добрыми, но бестолковыми, и все отведенное ему эфирное время тратил на истории из их жизни, которые сочинял от субботы до субботы. У свинлянцев имелся свой флаг с тремя полосами разных оттенков розового и герб в виде увенчанного короной желудя. Государственный гимн начинался словами: «Мы свинству нашему верны!»

Он заткнул пальцем второе ухо, чтобы не мешал уличный шум.

– Само собой, в счет алиментов... Что значит – лучше деньгами? Ты соображаешь, в какое время живешь? В феврале инфляция была сто процентов в неделю! Сахар – это валюта, ты в любой момент можешь его продать... Я тоже не умел, жизнь заставила... Почему только сахаром? Просто сегодня подписываем контракт на два вагона, и свой брокерский процент беру натурой.

Он оборвал разговор, заметив, что неподалеку прижалась к бровке тротуара старенькая «шестерка». Из нее на обе стороны вышли двое кавказцев в одинаковых кожаных куртках – один пожилой и грузный, второй совсем юный, статный и гибкий, как танцор фольклорного ансамбля.

– Хасан! Хасан! – закричал Жохов.

Пожилой услышал, но и шага не сделал ему навстречу. Экономным жестом он велел молодому оставаться у машины. Ни один мускул не дрогнул на его одутловатом лице, почти до глаз синем после бритья.

Ладонь у него была влажной, рукопожатье – вялым, как бывает у крупных мужчин, от природы наделенных большой физической силой и не озабоченных необходимостью ее демонстрировать. Рукав куртки оттянулся, на мохнатом запястье открылись командирские часы со звездочкой, с блекло-болотными на свету стрелками и делениями циферблата. В темноте они наливались ядовитым зеленым огнем.

– Напрасно вы их носите, – сказал Жохов.

– Почему?

– Фосфор, радиация.

Хасан молча забрался на заднее сиденье. Машина заколыхалась под его тяжелым телом. Молодой сел за руль. В профиль он казался старше. Чувствовалось, что его лицо слеplено по родовому трафарету, лишь глаза принадлежали ему одному, и то не всегда. Их горячий блеск временами гас, словно кровь предков, знающих цену этому миру, брала свое. Жохов сел рядом с ним, чтобы указывать дорогу, и тогда только вспомнил его имя – Ильдар.

Садясь, заметил на сиденье возле Хасана мятый полиэтиленовый пакет с изображенной на нем шестеренкой. Полустертые буквы вокруг ее зубцов складывались в слово «Союзхиммаш». Пакет был плотно набит чем-то мягким, не имеющим формы, но Жохов сразу понял, что там – деньги. Продуманно небрежная упаковка из газеты скрывала очертания навалом набросанных пачек. Марик, если случалось переносить крупные суммы в наличке, тоже использовал такие пакеты. Они были безопаснее, чем сумка, портфель, тем более – дипломат.

Тронулись, свернули, постояли перед светофором, нырнули в тоннель, выехали к железнодорожным путям и начали петлять в полосе отчуждения, среди увитых колючкой заборов, глухих кишлачных стен, серебристых ангаров с лагерными вышками и полувоенными КПП, возле которых прохаживались крепкие ребята в танковых куртках или офицерских бушлатах без знаков различия. Проезды, открывавшиеся по сторонам, были перегорожены шлагбаумами.

Пакет с деньгами виднелся в зеркальце над лобовым стеклом. Сумму Жохов знал и опять машинально стал высчитывать свой процент в рублях и в долларах. За два дня эти подсчеты производились уже множество раз, но сама процедура приятно успокаивала, как чтение мантры.

Слева потянулась бетонная ограда, пестревшая аббревиатурами партий, значками футбольных клубов и лозунгами этой зимы, однообразными, гневными и безнадежными, как жалобы немого. «Гайдар, верни деньги!», «Ельцин – иуда!», – невольно читал Жохов разорванные стыками плит угольно-черные граффити. Между ними мелькнул и пропал, скраденный столбом, человек с узнаваемым кукишем вместо лица. Проплыло символическое уравнение, в котором сумма слагаемых равнялась свастике. Какие-то уродцы с замазанными фамилиями дисциплинированно стояли в очереди на виселицу, антропоморфная пятиконечная звезда в островерхом шлеме русского витязя, с прямым варяжским мечом в руке, наступала на вооруженный кривой хазарской саблей могоид в шапке, как у хана Мамай.

Ильдар за всю дорогу не проронил ни слова. Лицо его было спокойно, как у мюрида, знающего, из чьих единственных уст должен прозвучать голос судьбы. Тень сомнения пробежала по нему лишь однажды, когда справа по курсу показался прибитый к дереву лист фанеры с энергичной надписью «Шиномонтаж». Скучно оперенная стрела типа тех, какие раньше рисовали на заборах косо торчащими из насквозь простреленных ими сердец, отсылала в сторону съехавшего набок и подпертого двумя слегами сарая. Под крышей, окаймленная лохмами рваного рубероида, висела на цепи автомобильная крышка.

Притормозив, Ильдар вопросительно взглянул на Хасана. Тот покачал головой.

Жохов велел сбросить газ. Он боялся пропустить нужный поворот, но узнал его издали. Знакомый пейзаж надвинулся медленно, будто выплыл из полузабытого сна. Мимо лежавшей на снегу белой собаки с розовым животом въехали во двор и остановились возле одноэтажного пакгауза из побуревшего от многолетней копоти кирпича. Жаркое дыхание пескоструйных аппаратов никогда не касалось этих стен. Ильдар с пакетом остался в машине, а Жохов и Хасан через железную дверь вошли в помещение типа складского.

Потолок состоял из налезавших друг на друга древесно-стружечных плит, на стенах висела документация, вряд ли имевшая теперь хоть малейший смысл. Среди ороговелых бумажек с выцветшей машинописью и следами ржавчины вокруг кнопок выделялся известный плакат работы Джуны Давиташвили, тоже не вполне актуальный. На нем ассирийская кудесница изобразила бабочку, одно крыло которой состояло из американского звездно-полосатого флага, второе – из советского, красного. Усики справа и слева были соответствующих цветов.

Под этой химерой, сидя на корточках у стены, белобрысый грудастый парень ел разведенный кипятком импортный суп из картонной кружки. Сине-красный спортивный костюм, шелестевший на нем при каждом движении, служил знаком его касты.

Вдоль другой стены серебряными штабелями стояло китайское сублимированное мясо в коробках из фольги. Две женщины зачехляли эту поленицу армейским камуфляжным брезентом. Одна, в оранжевой путевой безрукавке, говорила другой:

– У Ельцина, вчера передавали, мать сильно болеет. Не дай бог, помрет до Пасхи, тогда как? Мы ведь, нынешние, ничего не знаем – можно, нет ли в Великий пост покойницу водочкой помянуть. Темные все стали.

– Николай Петрович на месте? – спросил у нее Жохов.

Эта женщина ничего не ответила, а другая сказала:

– Куда он денется!

Под цепким взглядом белобрысого перешли в соседнюю комнату, гулкую и пустую после ремонта. Новую мебель еще не завезли, за единственным столом с тумбами из некрашенной фанеры сидел похожий на кладовщика мужчина в сатиновой спецовке. Из-под нее выставлялся ворот дорогой импортной сорочки с галстуком, тоже, видимо, не дешевым.

По другую сторону стола стояли два конторских стула с высокими спинками и непропорционально короткими ножками. Этот простой, но психологически эффективный прием описывался во многих руководствах по бизнесу. Ножки подпилили для того, чтобы при деловых переговорах хозяин кабинета мог смотреть на посетителей сверху вниз.

– Приветствую, Николай Петрович, мы к тебе, – обратился к нему Жохов на «ты», но по имени-отчеству, как обращались друг к другу члены Политбюро и командиры производства. – Вот мой покупатель. Условия мы с ним обговорили, его все устраивает... Садитесь, Хасан, будем решать с транспортировкой.

– Сахара нет, – подождав, пока тот сядет, бесцветным голосом сказал Николай Петрович.

– Как нет? – растерялся Жохов. – Мы же с тобой вчера обо всем договорились!

– Вчера был, сегодня – нет. Ушел сахар.

На вопрос, когда снова придет, отвечено было, что точно сказать нельзя, он редко сейчас приходит и сразу уходит. Стихия его визитов не зависела от убогой человеческой воли, поэтому извинений не требовалось, налицо была неодолимая сила обстоятельств.

Николай Петрович отвернулся и посмотрел в окно. Оттуда било пьянящее мартовское солнце. Галстук с люрексом искрился под ним, как кусок медного колчедана.

Поднявшись, Хасан с преувеличенной вежливостью вернул на место стул-уродец. Жохов удержал его за локоть, другой рукой придвинул к себе стоявший на столе телефон, снял трубку и стал набирать номер.

– Ушел, бля! Ты это не мне рассказывай! Ты это Расскажи Семену Иосифовичу...

На третьей цифре Николай Петрович карандашом прижал рычаг.

– Леша! – позвал он.

Появился белобрысый. Хасан отодвинул его и зашагал к выходу. Жохов побежал следом, оправдываясь:

– Честное слово, вчера договорились! Я ему сегодня с утра звонил, его к телефону не позвали.

Во дворе он достал пачку «Магны», но закурить не успел. Хасан вынул у него изо рта еще не зажженную сигарету, задумчиво повертел в пальцах и уронил на снег. В этом вялом движении было больше угрозы, чем если бы он ее сломал, отшвырнул или смял в кулаке.

– Я деньги взял под твой сахар. Проценты кто платить будет?

– Что-нибудь придумаем, – успокоил его Жохов, – не надо нервничать. Это вопрос решаемый.

Он поднял сигарету и, дважды дунув на нее, договорил:

– Вообще-то продовольствие не моя специфика. Я работаю по металлам, у меня хорошие связи на Урале, особенно в Свердловской области. Выхожу на ряд непосредственных производителей.

– Твой штраф – пятьсот тысяч, – ответил Хасан.

Эта запредельная и подозрительно круглая сумма не вызвала даже возмущения. Она просто находилась по ту сторону реальности. Жохов никак не мог соотнести ее с самим собой и плохо слушал, когда Хасан начал перечислять слагаемые. В его голосе не было ни льда, ни железа. Он достал калькулятор, осторожно потыкал в него толстым пальцем и, заслонив от солнца, показал высветившуюся цифру, на которую Жохов и смотреть-то не стал. Зачем? Начнешь торговаться, много все равно не скостишь, зато наведешь на мысль о своей платежеспособности.

– Да где ж я их возьму? – спросил он тоном человека, знающего, что ответа на данный вопрос в принципе не существует.

– Машину продай.

– Нет у меня машины.

– А говорил, в ремонте.

– Это все понты. У меня и прав-то нет, можете проверить в ГАИ. Если есть знакомый мент, пусть запрос сделает. Копеечная операция.

Хасан поглядел в сторону ворот. Белая собака лежала там в той же позе, но рядом с ней появилась другая, рыжевато-серая, как монгольская овца. Глаза у обеих были закрыты.

– Я у тебя дома был, чай пили, – вспомнил он. – Говорил, комната твоя, не съемная. Тоже понты?

– Нет. А что?

– Могу взять. В счет штрафа.

– Чего-о? Комнату в центре за пятьсот тысяч?

– Оценку сделаем через агентство. Сколько надо будет, доплачу.

Жохов живо представил, каково это – в сорок с лишним лет оказаться в Москве без собственного жилья, да еще с его профессией. Опыт геолога-поисковика пользовался теперь примерно таким же спросом, как умение прокладывать курс корабля при помощи секстанта и астролябии. Как частный предприниматель он пока тоже не преуспел.

– Как у вас все просто! Завидую я вам, – только и успел сказать Жохов, прежде чем Хасан своей мохнатой клешней взял его за шею и стукнул затылком о стену.

Трикотажная шапочка смягчила удар, но голова наполнилась ватой, он даже не понял, ушами слышит или по губам читает про включенный счетчик, про то, что срок – неделя. Тело стало пустым, словно подвели к краю крыши и наклонили над бездной. Из желудка пустота ушла в ослабевшие ноги, а пришедшая ей на смену мгновенная дурнота по каменеющему пищеводу поднялась к горлу.

Хасан сделал рукой такое движение, будто стряхивает воду с пальцев. Стоя у стены, Жохов видел, как он идет к машине, как садится на переднее сиденье рядом с безмолвным Ильдаром, все это время смотревшим только на собак. Хлопнула дверца. Остервенело юзуя в талом снегу, машина вырулила со двора и скрылась среди пакгаузов.

3

Часа через полтора Жохов на Центральном телеграфе предъявил паспорт в окошечке «До востребования», получил заказное письмо из Екатеринбурга и тут же его распечатал. Внутри лежал единственный лист низкосортной серой бумаги с прыгающей машинописью, пробитой через лиловую копирку.

Вверху, под сдвинутой влево шапкой с названием фирмы, адресом, телефоном, факсом и банковскими реквизитами, крупно отстукано было через интервал: «КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».

Ниже разъяснялось, в чем оно состоит: «Предлагается к реализации путем бартерного обмена на продукты питания и товары народного потребления следующая продукция».

Еще ниже в столбик, с указанием ГОСТа, процента содержания без примесей, цены за килограмм и наличного объема, перечислялась эта продукция: гадолиний металлический, молибден монокристаллический, ванадий электролитный, окись гольмия, окись иттрия, окись иттербия, пятиокись ниобия – всего 23 позиции. В минуты слабости, особенно по утрам, Жохову самому не верилось, что кто-то захочет выменивать эти окиси на сервелат, кружевные колготки или сгущенное молоко.

Внизу стояли подпись и печать. Перед подписью указывалась должность того, кто ее поставил: коммерческий директор ИИП «АЛМЕТ», после – его инициалы и фамилия: И.П.Караваев. Жохов учился с ним на одном курсе, вместе с Геной и Мариком.

ИИП расшифровывалось как «Индивидуальное инновационное предприятие», «АЛМЕТ» – как «Аллины металлы». Жену Караваева звали Аллой. Недавно, будучи в Москве, он спьяну проговорился, что очень удачно подложил ее под замдиректора межкомбинатской базы широкого профиля. Этот финт у них, видимо, и рассматривался как инновационный.

Жохов перешел в соседний зал, накупил жетонов и позвонил в Екатеринбург.

– Слушай, что ты мне прислал? – сразу приступил он к делу, когда Караваев взял трубку. – Цены абсолютно те же, что в прошлый раз. Я тебя предупреждал, что здесь это не проходит, а ты опять шлешь те же цифры.

– Нормальные цифры, – оскорбился Караваев.

– Ага, нормальные! Я, как лох, поперся с ними к Семену Иосифовичу, а он говорит, что по такой цене у нас никто ничего не возьмет. Они продают-то дешевле, а уж брать по таким ценам, это надо поискать идиотов. Ты, Игореша, поищи их в другом месте. Москва – город умных людей, тут на хромой козе никого не объедешь.

– Что конкретно они продают дешевле?

– Все.

– Например, что?

– Например, ванадий. У тебя он по двадцать шесть баксов, а у них – по двадцать два.

– От чистоты зависит. У меня чистота девяносто девять и три, а у них, наверное, меньше.

– Да то же самое! Вообще у них все параметры не хуже, а цена другая. По верхним позициям разница еще больше. За резонаторный ниобий ты просишь пятьсот баксов, и у тебя его всего-то десять кило, а у них – хоть жопой ешь, и за четыреста пятьдесят.

– Ну пусть продадут! Пусть! – задергался Караваев. – На дешевку ловить все умные. Дойдет до дела, накинута больше моего. Скажи им, что я беру, посмотрим.

– Что ты берешь?

– Ниобий.

– Действительно берешь?

– За четыреста пятьдесят – возьму.

– Сколько?

– Килограммов двадцать точно возьму.

Жохов мгновенно сосчитал свой процент от суммы сделки. Четыреста пятьдесят на двадцать – девять тысяч, его десять процентов – девятьсот долларов. Как раз то, что запросил Хасан. Все, конечно, отдавать не будет, но кое-что придется заплатить.

– Выводи их на меня, – сказал Караваев. – Твой процент – три.

– Почему три? Договаривались на десять.

– Десять – это с продавца. С покупателя – максимум три. К концу мая у меня пройдет один двойной бартер, и я буду на низком старте. Скажи им, что двадцать килограммов я у них возьму точно. В июне получишь свой процент. Июнь – крайний срок.

Последний жетон шумно провалился в недра таксофона. Тратиться на новые Жохов не стал. На улице он купил пирожок с рисом и яйцом, который интеллигентная женщина в дворничьих валенках ловко вынула из зеленого армейского термоса с эмблемой ВДВ, и по Тверской двинулся в сторону Белорусского вокзала.

Начинка занимала не больше трети пирожка, остальное – сухое тесто. Вместо яйца к рису подмешан яичный порошок, тоннами поступавший в Москву как важнейший, наряду с презервативами, компонент гуманитарной помощи. Жохов куснул пару раз и бросил огрызок в кучу мусора возле переполненной урны. В центре города они наполнялись вдвое быстрее, чем при Горбачеве. Все вокруг что-то пили и жевали на ходу.

Во дворах еще лежал снег, дул ледяной ветер, но по тротуарам густо текла возбужденная толпа, как раньше бывало только в первые теплые вечера начала мая. Никто никуда не заходил, хотя в окнах нижних этажей уже зажглась рекламная подсветка. Быстро темнело. Сквозь стеклянные двери виднелись пустынные залы магазинов, знакомых со студенческих лет, а сейчас едва узнаваемых, пугающе роскошных, с надменными манекенами и красиво разложенными ювелирными изделиями в бархатно-черных витринах. За последний год все здешние торговые точки по несколько раз поменяли профиль.

До дому было десять минут ходьбы. После развода теща переехала в квартиру Жохова, к дочери и внучке, а его отселила к себе в коммуналку на одной из Тверских-Ямских, неподалеку от банка «Чара» с его очередями, охранниками, вопящими тетками и расклеенными на щитах мутными отчетами о том, как умело распоряжается правление банка доверенными ему средствами. Кругом, в радиусе ста метров, допоздна кучковались вкладчики, убеждая друг друга в надежности сделанных вложений. В воздухе соседних дворов был разлит запах вороватой надежды. Жохов чувствовал его ноздрями, когда по вечерам курил в форточку.

Четырехэтажный дом, где покойный тесть когда-то получил комнату от завода «Знамя труда», был покрыт розовой побелкой прямо поверх кирпича, без штукатурки. Такими домами в годы первой пятилетки тут застроили целый квартал. В то время балконы считались элементом буржуазного декора вроде кариатид, а не местом для хранения лыж и домашнего хлама, вместо них в квартирах проектировались кладовки. Грубой аскетичностью фасадов эти дома напоминали фабричные корпуса, планировкой образованных ими дворов – лабиринт.

По дороге к подъезду Жохов заметил, что возле мусорных баков спиной к нему стоит мужичонка в бесформенном треухе на крошечной, как у балерины, головке. На нем был не по сезону легкий светлый плащ с полуоторванным карманом, на ногах – резиновые сапоги. Казалось, все это он только что нарыл в мусоре и напялил на себя. Свет фонаря падал на его согбенную спину, на дебильный затылок с вылезающими из-под шапки сальными косицами. На ходу Жохов равнодушно скользнул глазами по этой типовой жертве шоковой терапии, как вдруг древний звук затачиваемой стали царапнул ему сердце. Мужичок обернулся, в руке у него неожиданно чистым блеском вспыхнуло лезвие ножа. Он точил его о ребро мусорного бака. Идеально округлые края короткого широкого клинка плавно и мощно сходились к ирреальному в своей убийственной правильности острию. Ледяное совершенство его форм завораживало как залог смерти без мучений. Этот помоечный гном не сделал даже попытки спрятать свое сокровище, словно владел им по какому-то неоспоримому праву, которое Жохов не мог за ним не признать.

Дома он сразу присел к телефону, стоявшему на тумбочке возле входной двери.

– Семен Иосифович? Жохов побеспокоил... Спасибо, вашими молитвами... К сожалению, сахар ушел... Нет, мне это в любом случае не подходит, но есть другой вариант. Моего партнера интересует ниобий... Резонаторный, по четыреста пятьдесят... Понятно. А по сколько теперь?... Понятно. А по пятьсот не возьмете?... Нет, он сам берет по четыреста семьдесят... Напрасно вы, у него в цену входит поставка франко до границы... Хорошо, будем на связи.

Иногда он сам удивлялся, как легко сыплются у него с языка все эти слова из брошюрок по бизнесу с вызывающими доверие английскими и еврейскими фамилиями на обложках. Они, в частности, открыли ему, что слово «продажа», раньше употреблявшееся только в единственном числе, имеет, оказывается, и множественное. В этой грамматической форме оно обозначало не процесс, а цель.

Рис и тесто пирожка колом стояли в горле. В кухне Жохов налил из-под крана стакан воды, выпил, налил еще. В том месте, где Хасан схватил за шею, глотать было немного больно, как при ангине.

Рядом возились у плиты две соседки по квартире. Одна, в парике после недавней химиотерапии, кипятила на пару травяной сбор, объясняя другой, постарше и попроще, как нужно его заваривать.

– Онкология, Ираида Ивановна, это наказание за грехи отцов, – спокойно говорила она, помешивая ложкой в кастрюле. – Мой-то был просто сволочь, а ваш, как известно, служил в НКВД. Так что учитесь, пока я жива, пригодится.

Раздался телефонный звонок. Жохов вышел в коридор, взял трубку. Звонила жена.

– Долго думаешь, милая, – выговорил он ей по возможности кротко. – Всё, нет сахара. Поезд ушел, так и скажи своей мамочке. Это она тебя накрутила?.. Она, она, знаю я вас. Хвост тебе накрутит, ты и бежишь с выпученными глазами. Не так, что ли? Без нее ты бы еще неделю прособиралась. Сразу надо было решать, а ты пока почешешься... Тебе же русским языком говорят: нет сахара!.. Чего ты не понимаешь?.. Дура!

Он шваркнул трубкой о рычаг.

– Наберитесь терпения, Сергей, – проходя мимо, сказала соседка в парике. – Реформы пойдут, и сахар будет.

Жохов закурил, достал записную книжку. Ираида Ивановна принесла ему баночку от майонеза в качестве пепельницы.

– Вчера в очереди говорили, – сообщила она, – Фидель нам десять пароходов с сахарным песком отправил. Мы вот ругаем его, а он добро помнит.

– Их по дороге перехватили, пароходы эти, – сказал Жохов.

– Кто?

– Саддам Хусейн.

Он набрал номер.

– Толик, ты?.. Я, я... Идут помаленьку. А у тебя?.. Понятно... Вообще-то американцы часто блефуют, с немцами как-то надежнее... Понятно... Слушай, мне тут нужен кредит под одно дело. Ерунда, всего пятьсот тысяч... Нет, я понимаю, что у тебя нет, но ты выходишь на Давыдова. Объясни ему, что у никеля большие перспективы... Забудь про Караваева! Я выхожу на непосредственного производителя. У меня однокурсник – директор комбината.

Жохов ездил к нему на Урал осенью, когда всерьез пытался работать по никелю. Тот пригласил его в гостевой комнате за кабинетом, достал коньяк, минералку, красную рыбу. «Появятся покупатели, звони, – сказал он, чокаясь. – Назовешь фамилию, секретарша со мной соединит. Ты будешь у нее в списке». Выпил и закончил: «Два раза промахнешься, вычеркну». Прочие вычеркивались после первой промашки.

Одну попытку Жохов уже использовал, оставалась последняя. Он поудобнее пристроился у телефона. Через пару часов дно майонезной баночки скрылось под окурками. Соседка в парике, окаменев на пороге своей комнаты, сказала с певучей злобой:

– Сколько можно? Мне должны звонить!

Ей никто никогда не звонил, но она с такой надеждой бросалась на каждый телефонный звонок, что у Жохова всякий раз сжималось сердце. Особенно теперь, когда у нее отрезали одну грудь. Он закрыл записную книжку, прошел к себе в комнату и с порога, не включая свет, рывкнул:

– Хы!

В ответ из темноты раздался дьявольский хохот. Сработало звуковое реле в китайской игрушке – из тех, какими простодушные американцы пугают друг друга на Хеллоуин. Подвешенный к люстре пластмассовый череп заплясал на нитке, содрогаясь и ритмично посверкивая краснеющими глазницами. В них пульсировал адский огонь от четырех пальчиковых батареек. Короткими вспышками выхватывало из тьмы и окрашивало в цвет крови веселенькие обои под ситец, ободранные давно потерявшейся кошкой, фотографию Лельки на стене, гипсовый бюстик Ленина в оконной нише. На высоком лбу вождя, как на теле преступника в рассказе Кафки «Исправительная колония», был вырезан и покрашен черным фломастером буддийский аналог той из десяти заповедей, которую он нарушил, – ахимса.

Глава 2

Побег

4

Дня через три после встречи с Жоховым жена позвала Шубина к телефону:

– Тебя какой-то Жохов. Говорит, Гена дал ему наш телефон.

– Нет меня, – сказал Шубин. – Пусть вечером перезвонит.

Жена расстроилась.

– Я уже сказала: сейчас. Что я теперь должна ему говорить?

– Скажи, что спала и не слышала, как я ушел.

Было часов десять утра, он только что сел за машинку, и отвлекаться не хотелось.

На днях стало известно, что одной новой газете для семейного чтения требуется серия исторических очерков с криминальным уклоном. По слухам, платили они честно. Шубин позвонил, ему назначили встречу в редакции. Он прибыл минута в минуту, но тех, с кем договаривался по телефону, на месте не оказалось. Секретарша сказала, что ушли обедать. Вернулись они часа через полтора. Это были двое юных гуманитариев, годившихся ему в сыновья, Кирилл и Максим. Оба с удовольствием рассказали о себе. Кирилл писал диссертацию по герменевтике Георга Гадамера, Максим доучивался в МГУ. Темой его диплома были восточные мотивы у Андрея Белого: чума, монголы, эфиопы. От обоих крепко пахло пивом.

Выяснилось, что им нужна уголовщина Серебряного века – основанная на архивных документах, но со стильными убийствами и половыми извращениями. Взамен Шубин предложил очерки о самозванцах. Идея прошла со скрипом. Ее коммерческий потенциал они сочли сомнительным, тем не менее согласились попробовать. Для него это был компромисс между желанием заработать и этикой профессионала, для них – между веяниями времени и жалостью к автору, по возрасту не способному встать вровень с эпохой. Время переломилось круто. Совсем недавно Шубин считался мальчишкой, а теперь ему постоянно давали понять, что в свои сорок два года он – старик.

Расцвет всенародного интереса к истории пришелся на горбачевскую эпоху и минул вместе с ней. Для Шубина это были счастливые годы. Он уволился из института и неплохо зарабатывал, снабжая газеты и журналы сообщениями о не известных широкой публике фактах или статьями с новым взглядом на известные. Биографии, календари памятных дат, архивные материалы разной степени сенсационности расхватывались на лету, в угаре успеха он не заметил, как его отнесло в сторону от магистрального течения жизни.

Сначала резко упали в цене красные маршалы, за ними – эсеры и анархисты, по которым Шубин специализировался с начала перестройки. На смену житиям революционных вождей, загубленных усатым иродом, пришли благостные рассказы о трудолюбивых и скромных великих князьях с их печальницами-женами, не вылезающими из богаделен. Правдолюбцев без царя в голове вытеснили мудрые жандармские полковники и суровые рыцари Белой идеи, чаще склонявшиеся над молитвенником, чем над оперативными картами, а эти борцы за народное счастье, в свою очередь, уступили место героям криминальных битв.

В дыму от сгоревших на сберкнижках вкладов исчезли искатели золота КПСС. Сами собой утихли споры на тему, появится ли в продаже сахарный песок, если вынести тело Ленина из мавзолея. Курс доллара сделался важнее вопроса о том, сколько евреев служило в ЧК и ГПУ и как правильно их считать, чтобы получилось поменьше или побольше.

С прошлой зимы Шубин пробавлялся случайными заработками, да и те выпадали все реже. Серия очерков о самозванцах была подарком судьбы среди сплошных неудач.

Начать он решил с Тимофея Анкудинова, мнимого сына царя Василия Шуйского. Этот человек волновал его с доперестроечных времен, с тех пор как на ночном гурзуфском пляже впервые услышал о нем от бородатого питерского аспиранта-историка, бродяжившего по Крыму с ручным вороненком на плече и двумя прибившимися к нему в Коктебеле столичными антропософками. Из идейных соображений они загорали без лифчиков, а купались только голыми.

Когда-то Шубин думал написать об Анкудинове статью для «Вопросов истории», материал был собран. Популярный очерк – жанр куда более незатейливый. Он нашел папку с выписками и замолотил по клавишам своей «Эрики». В его положении о компьютере нечего было и мечтать.

Анкудинов родился в 1617 году, в Вологде. Его мать звали Соломонидой, отца – Демидом, других детей у них не было. Отец торговал холстами, но позднее перешел в услужение к архиепископу Варлааму, владыке Вологодскому и Великопермскому, и вместе с семьей поселился у него на подворье. Владыка обратил внимание на способного мальчика, приблизил его к себе, в шестнадцать лет женил на своей внучатой племяннице и определил писарем в вологодскую «съезжую избу». Там под началом дьяка Патрикеева он быстро дослужился до подьячего. Когда Патрикеева перевели в Москву, тот взял Анкудинова с собой и пристроил на службу в Новую четверть – приказ, ведавший казенными питейными домами.

Место было благословенное, сюда стекались колоссальные суммы из царевых кабаков и кружал со всей Руси. Наличку с мест привозили медью, при пересчете ее на серебро умный человек никогда не оставался внакладе. Принцип двойной бухгалтерии еще не был известен, финансовые документы составлялись в одном экземпляре. Опытному подьячему не стоило труда подчистить, а то и подменить опись. Тогдашний аудит сводился к допросу свидетелей и графологической экспертизе, но Анкудинов научился так виртуозно подделывать чужой почерк, что никому в голову не приходило заподозрить подлог.

Перед юным провинциалом открылась масса возможностей, круживших ему голову. Деньги сами шли в руки. Доставались они легко, с такой же легкостью он их прогуливал, не думая о завтрашнем дне, но затем взялся за ум, купил дом на Тверской, рядом с подворьем шведского резидента, и переехал туда со всей семьей. Его сын через забор дразнил шведов «салакушниками» и «куриными ворами», за что был выпорот по жалобе посольского пристава. Тогда же Анкудинов начал вкладываться в торговые предприятия, входя в долю с купцами, ездившими за границу. На вино и зернь тоже хватало. Семье перепало чем дальше, тем меньше. Жена и прежде не упускала случая поставить ему на вид, что всем в жизни он обязан ей и ее дяде-архиепископу, а теперь принялась поминать об этом каждый день, с воплями и слезами. Она требовала от него сидеть вечерами дома, не пить, не гулять, содержать ее вологодскую родню, а оставшиеся деньги отдавать ей на хранение. Анкудинов все чаще стал ночевать на стороне, иногда неделями не появляясь у себя на Тверской.

Поначалу он имел страх божий, но с годами осмелел, утратил чувство меры, как в то время называли инстинкт самосохранения, и в один прекрасный день с ужасом обнаружил, что утаить грех невозможно. В отчаянии он бросился к купцам-компаньонам, те показали ему дулю. Чтобы покрыть растрату, пришлось занимать деньги в разных местах и под большие проценты. Возвращать было нечем, кредиторы потянули его в суд. Часть долгов Анкудинов заплатил, для чего опять запустил руку в приказную кассу, но латать этот тришкин кафтан с каждым разом становилось все тяжелее. На службе надвигалась ревизия, заимодавцы грозили тюрьмой. Самым безжалостным из них оказался его кум, подьячий Посольского приказа Василий Шпилькин. Выезжая с посольствами в Европу, он брал с собой низкосортный пушной товар, не подпадавший под закон о казенной монополии на торговлю мягкой рухлядью, и

там сбывал его с огромными барышами. Члены дипломатических миссий пользовались правом беспопытной торговли, на этом и возшел его капитал, умело преумноженный ростовщичеством. Напрасно Анкудинов взывал к его милосердию, Шпилькин был неумолим.

Архиепископ Варлаам давно умер, отец тоже лежал в могиле, а мать Соломонида проводила недолго. Она снова вышла замуж и на просьбы сына продать дом и хозяйство, чтобы помочь ему в беде, отвечала отказом. Ждать помощи было неоткуда, впереди маячили кнут и Сибирь. Анкудинов решил бежать за границу, в Польшу.

Собираясь в дорогу, он прихватил с собой бурый камешек размером с перепелиное яйцо, неприметный на вид, но хорошо известный докторам и алхимикам. Это был чудесный камень безвар, имеющий «силу и лечбу великую от порчи и от всякой болезни». Такие камни раз в сто лет находят в коровьих желудках. В свою счастливую пору Анкудинов выиграл его в зерно у пьяного лекаря-немца из Кукуйской слободы и отказался вернуть хозяину, когда наутро, проспавшись, тот хотел выкупить назад свое сокровище. Позднее, загнанный кредиторами, он пытался его продать, но того лекаря не нашел, а другие или не знали безвару настоящей цены, или норовили купить обманом, по дешевке. Анкудинов думал сбыть его за границей. Он полагал, что обманщиков там меньше, чем в Москве, а образованных людей – больше.

Той осенью ему исполнилось двадцать шесть лет. Его дочери шел десятый год, сыну – четвертый. Вечером накануне побега он отвел обоих детей к сослуживцу по имени Григорий Песков, под каким-то предлогом оставил их у него ночевать, а сам вернулся домой, вызвал к заплоту дежурного пристава при жившем через забор шведском резиденте и, стоя перед ним в одной рубахе, матерно попенял ему, что не может уснуть, потому что на дворе у шведов собаки громко брешут. Пристав хорошо запомнил этот разговор.

На исходе был сентябрь 1643 года. Ночи стояли непроглядные, беззвездные, но дожди еще не зарядили, после июльских гроз бабье лето выпарило из бревен всю влагу. В глухой час задолго до рассвета Анкудинов с четырех сторон подпалил собственный дом, предварительно обложив нижние венцы соломой, и скрылся. В набат ударили, когда огонь уже охватил крышу. К счастью, ветра не было, даже ближайшие усадьбы удалось отстоять.

Дознание проводил концовский староста, на нем пристав показал, что сосед с вечера лег спать у себя в избе и, значит, тоже сгорел. Где в ту ночь находилась его жена, осталось неизвестно. Впоследствии утверждали, будто Анкудинов запер ее, спящую, в горнице и сжег дом вместе с ней, но эта официальная правительственная версия вызывала недоверие уже одним тем, что активно использовалась в попытках вернуть беглеца на родину. Предъявляя ему обвинение в женоубийстве, московские эмиссары за рубежом требовали выдать его как преступника уголовного, а не политического.

К обеду Шубин настучал три страницы, но были сомнения, верно ли выбран тон. Он позвал жену и вслух прочел ей написанное.

– Слишком академично, – сказала она. – Как-нибудь свяжи все с сегодняшним днем, а то они тебе меньше заплатят.

Шубин поинтересовался, как она себе это представляет.

Жена взяла со стола чистый лист и вышла с ним в кухню. Минут через десять вернулась, молча подала ему листок и застыла в ожидании приговора. Лицо ее еще туманилось недавним вдохновением.

«Все мы помним, – прочел Шубин, – сколь изощренной бывала наша пропаганда в тех случаях, если сверху поступал заказ оклеветать человека, бежавшего за границу. Его обливали грязью и обвиняли во всех смертных грехах, лишь бы настроить против него общественное мнение на Западе».

– Не нравится? – упавшим голосом спросила жена.

Пришлось признать, что написано неплохо. Она приободрилась.

– Вставь это после истории про его жену.

Шубин обещал, но как только за ней закрылась дверь, сунул листок в кипу черновиков, которые подстилались в мусорное ведро вместо газеты. Газет они теперь не выписывали.

Недостаток аллюзий удалось возместить картиной ночного пожара. Гудело пламя, столбом поднимались к небу огненные брызги, пылающие головни разлетались по Тверской. К утру дом превратился в груды углей, даже медная посуда расплавилась от страшного жара. На пожарище копались разве что нищие, а они человеческих костей не искали. Анкудинов на это и рассчитывал. План строился на том, что его сочтут сгоревшим до зольной трухи, обратившимся в пепел.

«Чтобы перевоплотиться в царевича из рода Шуйских, он должен был стать не беглецом, а мертвецом», – отстучал Шубин последнюю фразу и пошел обедать.

На первое был овсяный суп, на второе – полбаночки детского мясного питания с гречневой кашей. Дефицитная в советское время гречка свободно продавалась в магазинах. Соседка с восьмого этажа, сторонница реформ, умело использовала этот разящий факт в полемике с шубинской тещей. Они вели ее во дворе, выгуливая внуков.

Вечером Жохов перезвонил.

– Ты тогда у Гены рассказывал про монголов, – начал он без предисловий. – Можешь достать монгольскую юрту?

Шубин удивился, но не очень.

– Зачем тебе?

– Понимаешь, у меня тут обрисовался человек из Ташкента, отдает партию узбекских халатов под проценты с продажи. Практически без предоплаты. Берем их, гоним в Ниццу, ставим юрту на Лазурном Берегу и торгуем из нее этими халатами. Ночуем в ней же.

– Юрта монгольская, а халаты узбекские, – сказал Шубин.

Жохов отреагировал мгновенно:

– Да кто там разберет!

По нынешним временам идея была не самой экстравагантной. Теща все время подбивала Шубина подумать о семье и что-нибудь возить на продажу туда, где этого нет. Ей казалось, что нигде, кроме Москвы, нет ничего хорошего, задача сводилась к выбору любого пункта на карте, исключая Ленинград, и любого товара, доступного семейным финансам.

Все вокруг хотели что-то кому-то продать. Недавно соседка с десятого этажа, в прошлом балерина Большого театра, предлагала купить у нее полтора километра телефонного кабеля, лежавшего на заводском складе где-то под Пермью. Она пыталась соблазнить им всех соседей. Жена так долго объясняла ей, что им это не нужно, что почувствовала себя виноватой.

Шубин стал прикидывать, к кому можно обратиться насчет юрты.

– Ну что, достанешь? – спросил Жохов.

– Попробую. Позвони денька через два.

Он обещал, но не позвонил.

Через одиннадцать лет они с женой ехали из Улан-Батора в Эрдене-Дзу. Расстояние от столицы до аймачного центра Хар-Хорин, где находился монастырь, составляло около четырехсот километров. Для старенькой «хонды» Баатара, ровесницы августовского путча, это было немало, но дорога оказалась лучше, чем Шубин ожидал. Идеально прямая, недавно отремонтированная китайскими рабочими трасса вела строго на запад. По обеим ее сторонам плыла голая осенняя степь, лишь иногда на этой однотонной плоскости чуть более темным и рельефным пятном возникала овечья отара, похожая на низко стелющийся над землей дымок. Сколько бы ни было в ней голов, она все равно казалась ничтожной по сравнению с окружающим простором. Рядом с овцами неизменно чернела фигурка всадника. Одинокие юрты показывались вдали не чаще чем раз в четверть часа, парные – еще реже.

Жена смотрела в окно, а Шубин пытался выудить из Баатара крупницы той мудрости, которой оделили его норвежские и корейские миссионеры. Баатар отмалчивался, но в конце концов рассказал, как один из норвежцев говорил им, что не случайно китайский иероглиф «запад» по форме похож на двух людей под деревом. Если буквально перевести это слово, оно означает: место, где двое живут в саду. Эти двое – Адам и Ева, сад – райский. Значит, предки нынешних китайцев знали про Эдем, а потомки позабыли.

– Ты в это веришь? – спросил Шубин.

Баатар поймал в зеркальце его взгляд и покачал головой.

– Китайцы никогда ничего не забывают. Они помнят, что им у нас было хорошо, как в раю, и хотят вернуться.

– Они трудолюбивые. Зря вы их не любите, – сказала жена.

Вдруг Баатар притормозил, указывая вперед и вправо. На обочине стоя полудиких монгольских собак безмолвно терзала павшую лошадь. Она лежала на боку, маленькая, с окостеневшими ногами и разорванным животом. Зиявшая в нем красно-сизая полость казалась ненатуральной, как муляж. Неприятно было видеть, что все эти псы, голова к голове роясь у нее во внутренностях, нисколько не мешают друг другу.

Поодаль дожидались своей очереди грифы-стервятники. Они сидели парами, терпеливо и недвижимо, даже не пытаясь ухватить валявшиеся на траве кровавые ошметья. За ними с криком клубились вороны. Их черед должен был настать после того, как насытятся сильнейшие. В природе царил строгий порядок.

– Такова жизнь, – сказал Баатар в ответ на сокрушенные вздохи жены, жалеющей бедную лошадку.

Позже заговорили о приватизации в Монголии. Шубин напомнил ему его же слова, но признать справедливость такого порядка он теперь не пожелал.

5

В сентябре у Жохова завелась одна женщина, бывшая скульпторша, не очень молодая и достаточно бедная, для того чтобы рядом с ней чувствовать себя баловнем судьбы. В то время у него намечались серьезные контракты, а она плела и продавала на Измайловском рынке фенечки из цветного бисера. С ваянием покончено было еще при Андропове. Встречались у нее дома, вместе ужинали и за столом прекрасно понимали друг друга, но в постели он или вообще оказывался ни на что не годен, или кончал раньше ее, хотя до последней возможности затягивал процесс, закрывая глаза и, как рекомендовало руководство по тантрийскому сексу, мысленно водя зрачками по желтому, цвета расплавленного золота, четырехлепестковому лотосу.

Решение сесть на него верхом далось ей непросто. Была опасность выйти из образа нежной рукодельницы, хоть как-то ограждавшего ее от мужской грубости, но риск оправдал себя. В этой позиции Жохов оказался на высоте. Потом она в изнеможении припала к нему сверху, а он расслабленно поглаживал ей влажный от пота крестец. Это доказывало натуральность ее заключительных визгов и судорог.

«Ты, оказывается, страстная», – сказал он, деликатно умолчав о собственных скромных впечатлениях.

В ответ, все еще распластавшись на нем, она доверительно шепнула ему в ухо: «Вот так я раньше работала с глиной».

В тот же момент внутри у него что-то щелкнуло, и на следующий раз дело опять не заладилось. Больше он ей не звонил, но после истории с сахаром все-таки набрал ее номер. Там ответил мужской голос.

Хасан знал его адрес и телефон, следовало или заплатить хотя бы часть, или на время куда-то съехать. Снять жилье он не мог, денег оставалось на полмесяца, и то если не пить ничего крепче кефира и покупать продукты на оптовом рынке. Ночевать у Гены нельзя, жена у него яростно оберегала семейный очаг от всех, кого считала собутыльниками мужа. Гена и раньше предпочитал с ней не связываться, а с тех пор как под Новый год его институтская зарплата сравнялась со стоимостью двух бутылок шампанского, окончательно сдал позиции. Попросить в долг у Марика – значит утратить его доверие раз и навсегда. Он, может, и даст, но после этого лучше не обращаться к нему с деловыми предложениями.

Отец четвертый год лежал на кладбище в районном городе на Урале, бывшем железоделательном заводе князей Всеволожских, откуда Жохов четверть века назад уехал учиться в Москву. На мать рассчитывать не приходилось, он сам посылал ей деньги, когда были. На седьмом десятке она по большой любви выскочила замуж за бежавшего из Баку нищего армянского инженера моложе себя на десять лет, и тот камнем повис у нее на шее. Летом за копейки шабашил в передвижной мехколонне, зимой перебивались на одну ее зарплату плюс пенсия и картошка с мичуринского участка. Мать продолжала работать глазным врачом в городской поликлинике.

Из уральской родни в столице прижился только дядька по матери, слесарь-лекальщик шестого разряда и пламенный нумизмат. Эта страсть выжгла в нем все человеческое. Он был холост, при немалых заработках одевался как нищий, питался концентратами и супом из паке-тиков, годами взамен отпуска брал денежную компенсацию, чтобы потратить ее на очередной раритет, а выходные проводил на нелегальных сходках в Битцевском парке. Там собирались знатоки императорских профилей на серебре, специалисты по монетным дворам и гуртовым насечкам. Казалось, только смерть вырвет у него из рук эти каталоги и кляссеры, но дух времени проник и в его пыльную келью на Сретенке. Еще до путча он продал свою коллекцию, купил однокомнатную квартиру на Юго-Западе и сдавал ее жуковатому парижанину с бухарскими корнями, возившему в Москву французский маргарин под видом сливочного масла. Сам по-прежнему жил в коммуналке.

Жохов знал его с детства, но последние годы почти не поддерживал с ним отношений. Это была давняя семейная история. После войны дядька работал на единственном в их городе заводе, вообще-то пушечном, но со своим металлургическим производством, тогда же его арестовали за то, что выносил из цеха привезенные на переплавку немецкие, венгерские и румынские монеты. Никому, кроме дядьки, они на дух были не нужны. Державы оси, чтобы сэкономить никель и медь, чеканили их из какого-то невесомого синюшного сплава по цене грош за тонну. На румынских ляхх вместо свастики красовалась невинная кукуруза, тем не менее они считались фашистскими. Дядьке впаяли пять лет и отправили строить город Воркуту. Жохов помнил, как шестилетним пацаном прибежал со двора домой и увидел в кухне коротко стриженного серолицего человека, молча хлебавшего крошку. Он запускал ложку в дальний конец тарелки, деланно-вялым движением подгребал к себе квасную жижу с розовыми кубиками колбасы, бережно зачерпывал ее и вдумчиво отправлял в заросший щетиной рот. Колбаса плавала в крошке густо, как гречки в гороховом супе, но бабушка на разделочной доске резала еще и еще. Глаза у нее были заплаканные.

Пришли с работы мать с отцом. Налепили пельменей, вечером всей семьей собрались за столом. Жохову налили полрюмки кагора. Дядька рассказывал про северное сияние, про огромные, от земли до неба, дымно-красные облака, которые в полярный день при полном безветрии столбами простаивают над тундрой по несколько часов, совершенно не меняя очертаний. Не было ни бараков, ни вертухаев, ни рвущихся с поводков конвойных овчарок. Только величественная северная природа, ковры из разноцветных лишайников, песцы, олени, лемминги, перелетные птицы.

Все сидели как на лекции. Жохов заскучал и поставил на проигрыватель пластинку с песней о веселом Чико, лучше всех умеющем танцевать самбу, румбу и фокстрот:

Ах, Чико, Чико! Веселый Чико!
Веселый Чико прибыл к нам из Порто-Рико...

Дядька криво засмеялся и сказал, что это про него. Потом Жохова отправили спать, он уснул, но среди ночи проснулся от скрежета железа по железу. Окно было открыто, возле него стояла мать и, всхлипывая, кухонным ножом соскребала присохший к жестяному карнизу воробьиный помет. За стеной отец и дядька матом орали друг на друга.

Причину Жохов узнал уже студентом. После фронта у дядьки водились деньги от продажи трофейного барахла, незадолго до ареста он одолжил отцу приличную сумму на зимнее пальто для матери и подозревал, будто отец и стукнул на него в органы, чтобы не отдавать долг. Тот все отрицал, в конце концов они помирились, через несколько лет дядька по лимиту прописался в Москве, к праздникам присылал им со знакомым проводником колбасу и мясо, обложенное взятым у мороженщиков искусственным льдом, но при Горбачеве приехал на родину, пошел в КГБ и посмотрел свое следственное дело. Все подтвердилось, он стал требовать публичного покаяния через заводскую многотиражку. Вскоре отец умер от инфаркта. Дядька, извещенный кем-то из родственников, прилетел на похороны, хотя никто его не звал, и на поминках примирительно высказывался в том смысле, что покойный тоже стал жертвой тоталитаризма, сознательно убивающего в человеке основу его самостояния – способность различать добро и зло.

Эта история оставила у Жохова тошнотное чувство неотличимости одного от другого. Привезенные из Восточной Пруссии фарфор и шмотки были не то справедливой компенсацией за дядькины фронтовые лишения, не то добычей мародера. Зимнее пальто с черно-бурой лисой отцу не помогло, мать продолжала ему изменять и одновременно отбирала у него всю зарплату, так что отдать долг он не мог. Это ее ничуть не тревожило. Ей удалось подлизаться к брату и повернуть дело таким образом, что он согласился считать пальто своим подарком сестре, но отец этого не знал. Мать из лучших побуждений ничего ему не говорила, не желая лишать его радости сознать себя хорошим мужем. Она понятия не имела, что следовательно из органов, давно точивший зуб на дядьку за восторженные рассказы о чудесах немецкой бытовой техники, грозил конфисковать покупку, если отец не подпишет уже готовый свидетельский протокол с показаниями о фашистских монетах. Они хорошо шли к обвинению в низкопоклонстве перед тевтонскими садовыми насосами и обогревателями для коровников. Отец больше всего на свете боялся огорчить мать, к тому же следовательно внушил ему, что, подписав протокол, он избавит дядьку от худшего. В результате тот загремел в тундру, красавицу лису быстро сточила моль, а злополучное пальто впоследствии перешли на Жохова, он ходил в нем до четвертого класса, невыносимо страдая от того, что оно по-девчачьи запахивается на левую сторону. В школе дразнили, но мать учила его быть выше условностей. Возиться с петлями ей было лень.

После похорон отца Жохов виделся с дядькой всего пару раз при передаче абсолютно не нужных им обоим посылок с родины. Смертельно не хотелось ему звонить, но он позвонил и попросил о встрече.

- Приходи на следующей неделе, – подумав, сказал дядька.
- Раньше-то нельзя?
- Ну, давай в конце недели.
- А еще раньше?

Выяснилось, что можно прямо сейчас.

Вернувшись к себе в комнату, Жохов лег на пол, глубоко засунул руку под диван и вытащил оттуда плоский тяжелый сверток в жирном от пыли полиэтилене. Под ним открылся

тускло-серебристый металлический диск размером с ресторанный тарелку, толщиной сантиметров сорок в центре и почти острый по краям. Никто, кроме Гены, о нем не знал.

Налюбовавшись, он переложил диск в чистый пакет и поехал на Сретенку. На Сухаревской, бывшей Колхозной, купил в киоске бутылку «Гурджаани». Водку дядька не употреблял. Через полчаса сидели в его пятнадцатиметровой комнате с новой мебелью в арабском стиле. Бывший оборванец, теперь он смотрелся франтом. Белый пиджак, шейный платок в горошек. Так мог бы выглядеть на пенсии веселый Чико из Порто-Рико, не хватало лишь канотье и гвоздики в петлице. Без женщины тут явно не обошлось. Судя по ее вкусу, она была лет на десять старше Жохова и воспитывалась на голливудских музыкальных комедиях, поставляемых по ленд-лизу вместе с тушенкой и «студебеккерами».

Пили вино, заедая недавно появившимися в Москве плодами манго. Накануне дядька отведать их впервые в жизни и был сильно разочарован. Соседка предупреждала его, что оно того не стоит, но перед смертью ему хотелось попробовать все, что от него прятали большевики.

– Я тут для тебя кое-что приготовил, – сказал он после второго фужера.

На стол лег ветхий тетрадный листок, исписанный посеревшими от старости чернилами. По цвету они почти не отличались от бумаги, если не считать участков линияло-бледной синева. Местами она переходила в чуть более яркую зелень. Жохов узнал почерк отца.

– Здесь было заложено, – показал дядька потрепанный том без обложки. – Замечательная книга, отец твой всю жизнь ее перечитывал. Я когда на похороны к нему приезжал, взял на память.

Это был «Чингисхан» В.Яна, изданный Наркоматом обороны в 1942 году. Пример героической борьбы среднеазиатских народных масс против монгольских захватчиков имел тогда большое воспитательное значение. Жохов расправил форзац и опять перевел взгляд на листок.

«Дорогая Галина Сергеевна! Никакие санкции не в силах удержать обороты моего сердца, оно упорно продолжает выходить из норматива. Страданию моему нет лимита с тех пор, как я узнал вас...»

Отец, работавший в плановом отделе, чуть не полвека назад перекатал у кого-то из сослуживцев и прислал матери это письмо, призванное возвеселить ее сердце. Тогда они еще не были женаты. Позже мать заставляла малолетнего Жохова вслух читать его при гостях. В детстве ему нравилось потешать публику. Он чмокал себя в ладошку, через все застолье посылал матери воздушный поцелуй, задира подбородок и звонко, как на утреннике, декламировал эту десятилетиями ходившую по рукам бухгалтерскую песнь песней, где менялись лишь имена жестоких дев и подписи страдальцев: «Между моим сердцем и разумом нет баланса, и я не в состоянии привести в ажур проводки, находившиеся в дебете моего сердца. Не могу ли я найти в кредите вашего? Вы ежедневно производите списание со счета моего спокойствия, которое скоро дойдет до дебитового сальдо. Мою любовь, выставленную на ваше имя, вы рекламируете отказом. Вы отпечатались на балансе моей души, и я остался один, как погашенный лимитированный чек на столе у операциониста. Неужели мне придется делать перебивку перфокарт? Целую вас тысячу раз цифрами и прописью».

Он понял, что написано не чернилами, а химическим карандашом, канувшим в вечность заодно с перфокартами. Синевы и зелени были следами какой-то влаги. Может быть, слез.

– Возьми себе, – разрешил дядька.

Жохов сложил письмо по старым сгибам и убрал в бумажник. Дядька удовлетворенно кивнул.

– На могиле-то бываешь?

– В сентябре был, – соврал Жохов.

Он решил, что пора, и в общих чертах изложил историю с сахаром. Вместо сахара в ней фигурировал никель, вместо Хасана с Ильдаром – быки и смотрящие из чеченской груп-

пировки. Акцент был сделан на том, что бывшая жена, дура, ничего не зарабатывает, даже английский выучить не может, пришлось связаться в эту аферу из-за дочери. Хочется, чтобы ребенок ни в чем не нуждался.

– И сколько с тебя хотят эти черножопые? – поинтересовался дядька.

– Пол-лимона.

– Это что же получается? Почти тысяча баксов?

– Ну, не тысяча, меньше, – убавил Жохов эту сумму, чтобы она не казалась такой страшной.

– Я и говорю: почти тысяча.

– Не почти, а сильно меньше. Доллар сейчас где-то около шестисот семидесяти. Он за последнюю неделю сильно вырос.

– Все равно много. Думаешь, у меня столько есть?

– Думаю, найдется.

– И думаешь, я тебе дам?

– Нет, не думаю, – сказал Жохов, хотя надежда, естественно, была.

– Чего тогда пришел?

– Надо где-нибудь перекантоваться. Дома жить нельзя.

Дядька допил вино и спросил:

– Хочешь, загадку загадаю?

– С моралью?

– Не без того. Старая советская загадка, но для нас с тобой актуальная. Снаружи газ, внутри газ, а посередине – чёрт. Кто это?

– Не знаю.

– Чего ты сразу-то! Ты подумай.

– Еврей в газовой камере? – предположил Жохов.

Дядька рассердился, хотя взято было не с потолка. В поисках правды, которую от него всю жизнь скрывали, он штудировал «Протоколы сионских мудрецов» вперемешку со стенограммами партийных съездов. То и другое на видном месте стояло в шкафу с мавританской аркой. Поросль закладок над верхними обрезами говорила о том, что эти книги читались не для развлечения. После продажи коллекции дядьке хотелось наполнить остаток жизни новым смыслом.

– Это моя жена в газовом платье пьет газированную воду, – сообщил он правильный ответ.

Жены у него никогда не было. Слово «моя» значило только то, что ему, как всякому мужчине, близок лирический герой этой истории.

– А мораль? – вспомнил Жохов.

– Жениться не надо было. Меня вот Бог миловал, но ходит тут ко мне одна. Так что извини, к себе не пущу. В мои годы каждый раз как последний. Много ли мне осталось? Совкового масла в магазине не купишь. На квартиру тоже пустить не могу, там человек живет. Ты комнату сними.

Он достал две бумажки по двадцать долларов.

– Деревянных у меня нет, только баксы.

Жохов без разговора взял их и вынул из сумки свой пакет.

– Пусть пока у тебя полежит.

– Что там? – насторожился дядька.

– Посмотри.

Диск был распакован и поднесен к лампе. При электрическом свете его нежный серебряный блеск всегда становился более будничным, чем при дневном, словно на людях, зажигающих над ним свои лампадки, он нарочно прикидывался обычным металлом.

– Ванадиевый сплав, образец. Ничего интересного, – как можно более равнодушно сказал Жохов. – Днями куда-нибудь съеду на время, с собой таскать не хочется.

Через минуту его сокровище упокоилось в обувнике, среди убранных на зиму летних ботинок. Он запомнил место, выпросил у дядьки отцовского «Чингисхана» и поехал домой.

В одиннадцатом часу вечера на Садовом было безлюдно, как ночью, но машины неслись сплошным потоком. У стены дома, прижимая к себе двух спящих ребятишек, на картонной подстилке сидела темноликая женщина в азиатском халате, в шлепанцах на босу ногу. Щиколотки у нее были в струпьях. Навстречу деловито прошагал хорошо одетый человек с разбитым в кровь лицом. Светофоры призрачно светили сквозь бензиновый смог. «Кто смотрит на мир как на мираж, того не видит царь смерти», – вспомнил Жохов путеводную мысль из «Дхаммапады». Следовать этому тезису становилось все труднее.

У подъезда незнакомый мордастый парень в спортивных шароварах осведомился, не найдется ли закурить. Жохов достал пачку «Магны». Ноги предательски ослабли. До срока осталось три дня, в это время у таких, как Хасан, принято напоминать о себе.

Испытующе глядя ему в глаза, парень на ощупь вытянул сигарету и спросил:

– Тебя, отец, никто не обижает?

Слово «отец» в таких случаях всегда расстраивало, но сейчас даже оно потонуло в мгновенном облегчении.

– Разве что теща, – сказал Жохов.

– Если кто обидит, скажи. Разберемся, – пообещал парень, чиркая громадной стальной зажигалкой.

Он затаился, выпустил дым и, сочтя, видимо, что исполнил долг благодарности, удалился в сторону метро. Пока его овальная фигура не скрылась за углом, Жохов смотрел ему вслед, колеблясь, не окликнуть ли. В идеале этот мордастый мог оказаться авторитетным членом какой-нибудь группировки и взять к себе под крышу. Новый мир был очень хорошо забытым старым, все помнившие его умерли тысячу лет назад. Осталось предание о том, как добрый пастушок вынес из лесного пожара обыкновенную гадюку, а она обернулась всемогущей царицей змей.

В тамбуре подъезда Жохов бесшумно отшелкнул наборный замок, прислушался. Тихо, но это не значит, что там никого нет. Со всеми предосторожностями поднялся к себе на этаж, вошел в квартиру. Тут же зазвонил телефон. Ираида Ивановна высунулась из своей комнаты:

– Тебя. Весь вечер называют.

До этого Хасан звонил трижды и упорно заводил разговор про комнату, но в последние два вечера, когда соседки звали к телефону, в трубке не было уже ничего, кроме молчания. Сейчас, как вчера и позавчера, там стеной стояла тишина. Жохов тоже молчал, вдруг на том конце провода не то к микрофону поднесли будильник, не то микрофон – к стенным часам.

Отдаленное глухое тиканье действовало с неожиданной силой. Впервые стало по-настоящему страшно. Он долго не решался положить трубку, наконец положил, постаравшись сделать это предельно мягко, словно тот, с будильником, мог оценить его деликатность и распценить ее как покорность судьбе.

У себя в комнате Жохов зажег свет, разделся и встал с сигаретой у окна. В этой позиции ему обычно хорошо думалось, но сейчас нужно было или открыть окно, или погасить люстру, а то мешало сосредоточиться его же собственное отражение в стекле. В ушах продолжало тикать. В голове прокручивалась единственная фраза: «Пора делать перебивку перфокарт».

Он снова щелкнул выключателем. В темноте зеленым гнилушечным пятном проступил китайский череп, висевший на нитке под люстрой. Покрытая фосфоресцирующим составом пластмасса отдавала впитанный свет. Игрушка была куплена в подарок Лельке, но теща завопила, что фосфор, радиация.

В тишине опять взорвался телефон. Один звонок, второй, третий, четвертый. Соседки сидели по своим комнатам. Он решил не брать трубку, но не выдержал и взял. Звонил Гена.

– Слушай, – одышливо сказал он, – я, кажется, нашел покупателя.

– Для Караваева?

– Нет.

Сказано было так, что Жохов сразу все понял.

Вечером, пока Шубин работал, жена уложила сына и, сев за рояль, вместо колыбельной негромко начала петь ему на мотив «Старинной французской песни» из «Детского альбома» Чайковского:

Три брата уходили искать по свету счастье,
Сестра их проводила в путь далекий.
Три брата не боялись невзгоды и ненастья,
И каждый брат пошел своей дорогой.

Первый – на восток, второй – на юг,
Третий на запад пошел искать удачу.
И каждый говорил: «Пусть моя сестра не плачет,
Вернусь домой со счастьем, не иначе».

Кому принадлежат слова, жена не знала. Имена авторов чего бы то ни было не задерживались у нее в памяти. Шубина это всегда бесило, но тут она чувствовала свою глубинную правоту и могла не бояться его гнева. Песня, за которую он когда-то ее полюбил, должна была быть анонимной, чтобы считаться частью соединившей их стихии.

6

На завтрак Жохов изжарил себе яичницу из трех яиц без желтков. После того как Гайдар отпустил цены, ежеутренние медитации стали непозволительной роскошью, он уже не мог каждый день по сорок минут ни о чем не думать и скоро опять начал просыпаться с горечью во рту. Как у многих, кто вырос на Урале и с детства пил воду малых рек, отравленную большой металлургией, у него был застарелый холецистит. Яйца были ему противопоказаны, хотя без желтков представляли собой все-таки меньшее зло, чем пельмени, служившие им альтернативой. Желтки он вылил в стакан, а стакан поставил на стол к Ираиде Ивановне. Соседки получали их по очереди.

В начале одиннадцатого Жохов спустился во двор и зашагал в сторону площади Маяковского. На нем была куртка под замшу, на голове – грузинского производства черная шапочка с жирным трилистником на отвороте. Спортивная сумка через плечо выглядела как фирменная, если бы не алая пума у нее на боку. Воздушной размытостью очертаний она обнаруживала контрафакт.

Мартовское солнце и весенний авитаминоз кружили ему голову. Сворачивая за угол, он не заметил, как от группы вкладчиков «Чары», с утра тусовавшихся во дворе, отделился и последовал за ним потертый малый в коричневой кожаной куртке с погончиками. Лохматая собачья шапка нависала над его напряженно-значительным лицом, какие бывают у тайных пьяниц и людей с большим опытом послушания. Независимая походка тоже выдавала в нем человека, привыкшего подбегать на свист.

Время было судьбоносное. Голос судьбы мог прозвучать в любом месте и в любую минуту, поэтому иногда Жохов останавливался, читая расклеенные на стенах и водосточных

трубах объявления. На уровне глаз ими была покрыта любая поверхность, тяготеющая к вертикали. Там, где их пытались содрать, они лепилась особенно густо и бесформенно, как нарастающее на ранах дикое мясо. Все вокруг что-то продавали или куда-то зазывали, чтобы продать право на продажу того, что сами продать не могли.

Жохов высматривал объявления с ключевым словом «куплю». Такие попадались нечасто и касались в основном золота, икон, орденов и медалей. Однажды он оборвал и сунул в карман бумажный хвостик с номером телефона, владелец которого интересовался аммонитами и трилобитами. Обычно эти бумажки лежали там без применения, пока не превращались в труху, но иногда какая-нибудь оборачивалась реальным шансом. Все так перепуталось, что ископаемые моллюски могли найтись по соседству с ванадием, сахарным песком или узбекскими халатами.

С Геной встретились у кинотеатра «Москва». Зашли во двор, Жохов достал из сумки прозрачную папочку.

– Тут вся документация. Смотреть будешь?

– А нужно? – спросил Гена.

– Необязательно, просто отдашь им в комплекте. Тут результаты металлоанализа и заключение завлабораторией. Все на фирменных бланках, с печатями. Адрес и телефон указаны. Поедут они туда или позвонят, их дело. Наше дело – предоставить им такую возможность.

Жохов извлек листок другого формата, чем остальные.

– Это справка о ценах на Лондонской бирже за последние два года. Динамика отрицательная, но для нас роли не играет. Покажешь им, чтобы они имели представление, что мы в курсе. Когда я подключусь, у них уже будет точка отсчета.

– В смысле цены?

– Естественно. Потом можно будет ее снизить, но они должны знать, что настоящая нам известна. Сейчас никто не знает, кто за кем стоит, безопаснее для начала просить реальную цену.

Гена сосредоточенно кивал. Идти с ним на первую встречу Жохов не собирался. Успейте, пускай отработает свой процент.

Под бумагами лежал маленький полиэтиленовый пакетик со щепотью металлических опилок внутри.

– Тоже им отдашь, – велел Жохов. – Анализ могут сделать сами, это их право. Не поверят нашей лаборатории, пусть ищут свою.

Он вручил пакетик Гене. Тот с сомнением покачал его на ладони.

– Что-то они легкие.

– Какие есть. Удельный вес пять и двести сорок пять.

– А если они сами захотят взять пробу на анализ?

– Да ради бога! Напилим при них.

– Чем?

– Напильником.

Простота этой операции Гену разочаровала. Ему, видимо, казалось, что бесценный диск должен быть твердым, как алмаз.

– Завтра вечером я тебе отзовню, – пообещал он, укладывая папку в свой дипломат.

Двинулись к метро. По дороге Жохов провел небольшой инструктаж:

– Своего телефона им не давай и с домашнего не звони, у них может быть определитель номера. Место встречи назначай сам. Разговаривай с ними только на улице, во дворы не заходи, в машину не садись. Потом проверь, нет ли хвоста. В метро это проще всего. Зайдешь в вагон, а перед тем как двери закроются, выскочишь обратно на платформу. Если за тобой кто-то выскочит, ты его засечешь.

– И что тогда?

– Как-нибудь уйдешь, не маленький. Машину поймаешь. Больше с ними не связывайся, ну их к черту.

– Все будет нормально, я чувствую, – сказал Гена. – Всегда чувствовал, что ничего не будет, а сейчас совсем другое чувство.

Он пошел в метро, а Жохов свернул на Садовое и через десяток шагов открыл тяжелую, как в бомбоубежище, железную дверь под вывеской турагентства. Маленький офис, куда его пропустил охранник в камуфляже, был увешан фотографиями турецких пляжей, многоярусных отелей, окаймленных ядовито-голубыми бассейнами, и доступных горнолыжных курортов с уходящими вверх подъемниками, в которых ехали веселые лыжницы в темных очках. Эти красоты располагались на уровне глаз, а выше и ниже, в меньшей степени востребованные клиентурой, охотничьи замки стояли на зеленых холмах, алела черепица, античные руины белели на фоне пронзительно-желтой балканской сурепки. Снято было как-то так, что во всем ощущались покой и мгновенная полнота жизни. С прошлого года два эти состояния души для Жохова существовали порознь.

– У вас в Монголию туры есть? – осведомился он у девушки за стеклянным столом.

– К сожалению, нет.

– Напрасно. Волшебная страна.

Садясь, оглядел себя в зеркале напротив. К сорока трем годам его жесткие волосы оставались темно-русыми даже на висках, но одна прядь на макушке торчала седым ежиком. Тридцать лет назад ему туда плюнул царь смерти, когда любимого щенка задавило машиной. С этого плацдарма, постепенно захватывая все тело, признаки разложения начнут продвигаться вниз.

За спиной у него малый в собачьей шапке рассматривал плакаты на стенах. Жохов не обратил на него внимания.

– Ужасно выгляжу, да? – вздохнул он, отрываясь от зеркала.

Девушка взглянула на него с недоумением. В ее возрасте трудно понять, какое значение может иметь внешний вид для мужика за сорок в шмотках с вещевого рынка. Все они выглядят плохо, и это естественно.

Жохов решил держать марку.

– Пора отдыхать, всех денег не заработаешь. Махнуть бы в Анталию!

– Лучше в Египет, – сказала девушка. – В Турции еще холодновато.

– Не могу, милая, надо постоянно бывать в Москве. Вынужден ограничиться ближним Подмосковьем.

Она спросила, какое направление его интересует. Он выбрал восточное, хотя ему было все равно. Застучал струйный принтер, медленно выталкивая из себя список подмосковных здравниц к востоку от столицы. Жохов начал читать подряд, но соскучился и наудачу ткнул пальцем.

– Дом отдыха «Строитель»? – вывернув шею, уточнила девушка.

– Да. Где это?

– Пятьдесят километров по Казанской дороге. Места очень красивые, рядом лес. Есть прокат лыж.

Она достала из папки рекламный проспект.

– Цены здесь указаны без скидки. До первого мая скидка двадцать процентов. Имеются люкс, полулюкс, отдельные номера первой и второй категории.

Эту бумагу Жохов прочел внимательно.

– Одно место в номере на двоих, – определился он, изучив расценки. – Такое время сейчас, все мы чувствуем себя одинокими. Хочется, чтобы рядом была какая-то живая душа.

Через пару часов он трясся в раздолбанной электричке с туманно-желтыми окнами, опаленными неведомым огнем. В одном тамбуре не открывались наружные двери, в другом не закрывались внутренние. Оттуда тянуло стойким на холоде дымом дешевых сигарет.

Напротив сидели две женщины. Одна, бледная, похожая на почечную больную, ругала Гайдара, Чубайса, Шахрая и еще какого-то не известного Жохову деятеля с фамилией подлиннее, ритмически выпадавшей из этого ряда.

– Они его изолировали, ничего ему не докладывают, – говорила она с выражением привычного страдания на белом отечном лице. – Он ничего не знает, какие нынче зарплаты, сколько что стоит. Особенно из лекарств.

– Не знает, потому что пьет всю дорогу, – отозвалась ее спутница.

Жохов понял, что речь о Ельцине.

– Нет, так-то он человек неплохой, – возразила первая. – Эти сами его поят, а потом пьяному подсовывают бумаги на подпись. Он и подписывает, что им надо. А пьет с горя.

– Какое у него, у козла, горе?

– Не скажи, Нина! Он в жизни хлебнул горя. В коллективизацию отца раскулачили, сам по стройкам скитался. Теперь вот мать умерла. Говорят, он сильно ее любил.

– Да ну бросьте вы! – повернулся к ним интеллигентный мужчина из соседнего отсека. – Борька-то как в Москву перебрался, месяцами ей не звонил. Она его только по телевизору и видала... Я сам из Свердловска, здесь в командировке, – раскрыл он источник своей осведомленности и стал рассказывать, как в самом начале перестройки к ним в Свердловск приезжала Елена Боннэр, тогда еще не вдова, а жена академика Сахарова.

Жохов с удовольствием вслушивался в родной уральский выговор с редуцированными гласными и восходящей интонацией в конце фраз.

– Она у нас в университете выступала, – говорил свердловчанин. – Объявление за два часа повесили, а все равно народу собралось – тысячи, на подоконниках стояли.

– Сидели, поди. На подоконниках-то! – резонно указала ему женщина, жалевшая Ельцина.

– Именно, что стояли! Там в актовом зале окна высокие, а когда стоят, больше людей помещается. Значит, выступила она, пошли вопросы. Встает один профессор с химфака, спрашивает: «Какая у вас политическая программа? Нельзя ли поподробнее?» Она говорит: «Наша программа очень простая, состоит всего из трех пунктов. Первый: КПСС – на х...!»

– Так прямо и сказала? – поразились вторая слушательница.

– Зачем мне врать! Не на три буквы, не еще как-нибудь, а вот так, как я вам говорю. Все зааплодировали, она подождала, пока станет тихо, и продолжает: «Второй пункт: КГБ – на х...! Третий: цензуру – на х...!» Ее спрашивают: «И всё?» Она говорит: «А что вам еще нужно?»

Рассказчик горько усмехнулся и подвел резюме:

– С такой вот программой из трех пунктов они всю эту кашу и заварили.

Он ждал реакции, но женщины молчали. Одна потянула из сумки бутерброд.

– Было бы хоть четыре, всё легче, – сказал Жохов, оборачиваясь к вошедшему в вагон очередному коробейнику.

Они регулярно выходили из тамбура, как на сцену из-за кулис, и громко объявляли свой номер. Сейчас это была испитая тетка, богато интонированным голосом предлагавшая печатную продукцию. Казалось, она только раскрывает рот, а говорит кто-то другой. Жохов купил у нее газету «Сокровища и клады», но пока можно было смотреть в окно, читать не стал. За окном плыла усеянная строительным мусором, утыканная ржавым железом ничейная полоса в вечной войне между Москвой и Россией. Чем дальше, тем белее.

Глава 3

На чужбине

7

Между станцией и поселком Рождествено раз в час курсировал автобус, по дороге делавший петлю с остановкой возле дома отдыха «Строитель», но Жохов не стал его ждать. Ходу оказалось минут сорок, последние десять – лесом. За воротами лес перешел в парк с выкорчеванным подростом и заколоченными павильонами на центральной аллее. Она привела к двухэтажному зданию в усадебном стиле – памятнику той эпохи, когда уже позволялось грустить пусть не о самих усадьбах, но хотя бы о сгоревших вместе с ними библиотеках. Полукруглый коринфский портик имел своей осью скребки для обуви, на лепном фронте венки из дубовых листьев обрамляли пересеченные косым андреевским крестом штангенциркуль и мастерок вольных каменщиков. Капитали колонн состояли из побегов праздничного салюта с пятиконечными звездами наверху, среди них лепились полуобвалившиеся гнезда ласточек.

Жохов задрал голову, разглядывая эти руины птичьего уюта.

– Они прошлый год не прилетали, – сказал стоявший на крыльце мужик с дворницкой пешней. – При Горбачеве еще жили две пары, птенцов вывели, и всё, ни одной нету. А раньше-то было! Ой-ё, сколь.

Внутри чувствовалось, что скоро разлетятся и те, кто еще жировал здесь по последним профсоюзным путевкам. В холле одно посыпалось, другое пооблезло, пустые ячейки образовались на большом, в полстены, мозаичном панно с долгостроем и башенными кранами. На их фоне художник изобразил золотой век советской индустрии в образе пожилого станочника, юной лаборантки и средних лет ученого, который только что расщепил мирный, вероятно, атом и держал его на ладони, показывая остальным. Все трое дружно шли в сторону женского туалета.

На рецепции Жохов протянул дежурной путевку и паспорт и, пока та переписывала паспортные данные, поделился с ней своей тревогой:

– Не завидую моему соседу. Со мной трудно.

– Пьете, что ли?

– Хуже. Искривлена носовая перегородка, страшно храплю. Неплохо бы меня изолировать. Я в агентстве просил отдельный номер, не дали.

– Чего это? У нас полно свободных номеров.

– Не знаю. Говорят, нету.

– Ладно, идите в двести восемнадцатый. Там видно будет.

Дежурная выложила на стойку ключ с привязанной к кольцу биркой из фанеры. Второй такой же остался висеть на гвозде, с которого она сняла этот.

В номере Жохов окончательно убедился, что соседа у него нет. Кровати заправлены по-казенному, в шкафу пусто, на стеклянном блюде рядом с графином оба стакана стоят вверх дном. Настроение улучшилось, он начал разбирать вещи. В ванной, как мореплаватель, впервые ступивший на неизвестную землю и в знак своего права на нее победно вонзающий древко копья в прибрежный песок, отточенным жестом воткнул в стакан зубную щетку, побрился харьковской электробритвой, рывком распечатал заклеенную на зиму балконную дверь и вышел на балкон. Черный парк, громадное небо, меркнувший свет не видимого отсюда закатного солнца – все дышало покоем.

До ужина оставалось полчаса. Жохов завалился на кровать с газетой «Сокровища и клады», прочел очерк о лозоходцах, изучил технические характеристики металлоискателей, с чьей помощью автор статьи не раз находил тайники с золотыми империялами в подлежащих сносу домах. Так время и прошло.

Столовая находилась в другом корпусе. В вестибюле торговал патриотической литературой мужик в синих галифе и солдатской гимнастерке со старорежимной, явно кооперативного производства, двойной офицерской портупеей с тренчиками для пистолета и шашки. На груди у него болтались орденские кресты из подозрительно легковесного белого металла, нарукавный шеврон украшала адамова голова, как у карателя из батальонов смерти.

Покупателей не было, все торопились на ужин. Оставив куртку в раздевалке, Жохов задержался у лотка, раскрыл брошюру под названием «Генералы о масонах». Продавец оживился.

– Очень рекомендую, – проникновенно сказал он.

– А что-нибудь еще из этой серии есть? – спросил Жохов.

– Из какой серии?

– Ну, должно же быть продолжение. Полковники о масонах, майоры о масонах. И так до сержантов. Можно и наоборот. Например, масоны о сержантах.

– Иди-ка ты отсюда, – сказал продавец, отобрав у него брошюру и бережно кладя ее на место.

В столовой Жохов поймал за локоть молоденькую официантку.

– Я новенький. Номер двести восемнадцать.

– Вон туда садитесь, – указала она. – Там накрыто.

За столом никто не сидел, но накрыто было на двоих. Он раздобыл у соседей горчицу, в два счета покидал в рот жидкие котлеты с хрустящей на зубах гречкой и не без труда поборол соблазн приложиться к чужой порции. Официантка принесла творожную запеканку. Умяв и ее, Жохов подошел к общему столу, налил из большого чайника стакан кефира.

– О-ой! – удивилась стоявшая рядом девочка, когда из носика потекла густая белая струя.

– Что-то не так?

– Я думала, в чайнике всегда чай.

– Так раньше было. При коммунистах, – объяснил он этот феномен и маленькими глотками, смакуя, стал пить холодный кефир.

Мимо прошла стриженная под мальчика шатенка с судком в руке. Жохов проводил ее взглядом. Мохеровый свитер, отечественные сапоги, черные рейтузы под юбкой из шотландки. Все богини его юности носили эту волшебную косую клетку.

Он поставил пустой стакан на поднос проходившей мимо официантке и направился к выходу. Продавец книг уже свернул свою торговлю. Теребя нарукавный шеврон с черепом и костями, он рассказывал крепконогой девахе в кожаной мини-юбке, что этот православный символ искупления, воскрешения и будущей жизни, который большевики, кощунствуя, стали изображать на трансформаторных будках, есть еще и знак русской воинской славы, его носили на киверах гусары лейб-гвардии Александрийского полка. Во время войны с Наполеоном один австрийский генерал перепутал их с прусскими гусарами, имевшими такие же кокарды, и крикнул им: «Здравствуйте, гусары смерти!» Они ответили: «Мы не гусары смерти. Мы – бессмертные гусары».

Деваха слушала равнодушно, зато смуглый черноглазый мальчик лет десяти, проходивший мимо с булкой в руке, остановился, перестал жевать и внимал как замороженный. Потом его увела армянская мама. Она что-то говорила ему, он не отвечал. Глаза его были устремлены туда, где скакали, истаивая под снопами небесного света, давно истлевшие в земле эскадроны.

За барьером раздевалки, как за прилавком, сидел изможденный, с землистым лицом, старик-гардеробщик. Перед ним лежали его товары: сигареты, мыло, зубная паста, две книжечки

– «Любовники Екатерины» и «Целительный керосин». С барьера свисали ленты неразрезанных билетов цвета стиральной джинсы. Зазывая публику в кино, он громко щелкал ножницами. Жохов оставил ему деньги за сигареты и за билет, взял пачку «Магны», но от билета отказался жестом человека, знающего, что кроме финансовой отчетности в мире есть бедность, старость, болезни и смерть.

– Оденьтесь, там не топят, – предупредил гардеробщик.

Сеанс еще не начался, в центре почти пустого ряда одиноко сидела шатенка, которую он заметил в столовой. Сейчас на ней была пестро-серая кроличья шубка, очень простенькая. Жохов решил, что такая шубка без снобизма отнесется к его куртке под замшу с воротником под нерпу и пуговицами с польским орлом. Он пробрался вдоль ряда и сел рядом с ней. На коленях она держала судок из составленных в пирамиду алюминиевых кастрюлек.

Жохов осуждающе поцокал языком:

– Ай-яй! Кто-то, значит, кто сам в столовую прийти не может, ждет вас с ужином, а вы – в кино. Нехорошо-о!

– Это я себе взяла, – сказала шубка.

– Вторую порцию?

– Я здесь не живу, но иногда беру еду в столовой.

– Разумно. Везете в Москву, там съедаете.

Она промолчала.

– Между прочим, – сказал Жохов, – в кино я пошел ради вас. Увидел вас в столовой и решил, что должен с вами познакомиться. А то потом всю жизнь жалеть буду. Один раз со мной так было. Студентом ехал в метро, а напротив сидела девушка. Я хотел с ней познакомиться, но постеснялся. И до сих пор жалею.

Шатенка крепче обняла свой судок. Она была ненамного моложе его, хотя стрижена под мальчика. Аккуратный носик, большой рот. Верхняя губа выгнута дугой, как у татарочки. Разрез глаз указывал на те же гены. В затылочной впадине лежал темный завиток.

– Я мог бы купить вам билет, – продолжил Жохов, – но не рискнул. Видно, что вы не принимаете таких одолжений.

– Это комплимент?

– Как посмотреть. В домах отдыха многие женщины хотят выглядеть легкомысленнее, чем есть на самом деле, – высказал он свое знание женского сердца.

Зажегся экран, сразу ясно стало, что это не кинотеатр, а банальный видеосалон. Ушлые ребята пооткрывали их всюду – от аэропортов до заводских клубов и детских комнат при ЖЭКах. Как обычно, крутили мутную кассету, переписанную с другой кассеты, которая отстояла от лицензионной еще на десяток перезаписей. Наметанным глазом Жохов определил, что это эротика. Судя по тирольской песне за кадром – немецкая.

Дело происходило в девичьем монастыре, где у монахинь имелась ферма с молочными коровами и быком-производителем. Юные урсулилки или бенедиктинки трогательно за ними ухаживали, повязывали на шею бубенцы с лентами, целовали в нос, кормили из рук полевыми цветами. Близилось, однако, время случки, и чтобы произвести ее по последнему слову науки, аббатисса пригласила в обитель двух опытных ветеринаров. Те взяли с собой предназначенные для скотины возбуждающие пилюли, но по рассеянности, свойственной настоящим ученым, за ужином несколько штук слопали сами, а остальные тоже нечаянно скормили невестам Христовым.

Когда пилюли бурно начали действовать, шатенка взяла судок и стала пробираться к выходу. Жохов без колебаний двинулся следом. Он понимал, что испортил ей все удовольствие, заговорив с ней до сеанса. Смотреть такой фильм вместе с ним она теперь не могла.

По проходу шли рядом, он слышал ее шепот:

– Не думала, что будет такая гадость!

Жохов покивал, но не поверил. Само собой, прекрасно знала, на что идет.

– Эротика – это порнография для бедных, – сказал он уже в вестибюле.

– В каком смысле?

– В прямом. Здесь билет стоит пятьдесят рублей, а в порносалоне – триста.

– Посещаете порносалоны?

– Просто знаю цены. Я провожу вас, если не возражаете. Интересно все-таки, где вы собираетесь лакомиться этими котлетами.

Отвечено было, что на даче, тут недалеко есть дачный поселок. Ее имя тоже удалось выяснить без особых усилий – Катя. Она доверила ему свой судок, а на скользком крыльце позволила взять себя под руку.

– Ну, Катя, вы пропали, – объявил он, выводя ее на аллею. – Завтра напишу ваше имя на сухом осиновом листе, ночью пойду в церковь, поднимусь на колокольню, налеплю этот лист на колокол и ровно в полночь ударю по нему бием семь раз. Тогда уж вы никуда от меня не денетесь.

– До ближайшей церкви раз, два, три, – начала она загибать пальцы, – четыре... Пять остановок на электричке. Целый день уйдет, и в итоге приворожите не меня, а Катерину с раздачи. Такая толстая, видали? Будет за вами бегать.

– Фирма веников не вяжет. Знаете, чем я напишу ваше имя?

– Собственной кровью?

– Угадали. Там, – пальцем ткнул он вверх, в невидимое небо, – такие записки толкуют безошибочно. Накладок не бывает.

Днем таяло, а под вечер багровый столбик в большом термометре у входа в столовую опустился ниже нуля. На ветру деревья тихо звенели обледелыми ветвями.

Жохов постоянно помнил, что живет в отдельном номере, но говорить об этом не спешил. В постели с малознакомыми женщинами у него обычно ничего не выходило, сначала требовалось в деталях вообразить будущее блаженство конкретно с той или иной кандидатурой. Чем избыточнее была первая стадия, тем удачнее все складывалось во второй. Иногда это занимало несколько дней, иногда – полчаса. Сегодня он рассчитывал справиться быстро, пока не отошли далеко от корпуса. Двухмесячное воздержание должно подстегнуть фантазию.

Катя вытащила из-за манжетов красные, в тон шапочке, вязаные варежки. Оказалось, что они у нее, как у маленькой девочки, пришиты к пропущенной через рукава бельевой резинке. Жохова мгновенно пронзило умилением, которое у него всегда предшествовало вожделению.

– Идемте помедленнее, – предложил он. – Котлеты ваши все равно уже остыли.

Она сказала, что ей холодно, пришлось прибавить шагу. За воротами аллея превратилась в лесную дорогу, фонари исчезли, но снег на обочинах был еще достаточно чист, чтобы отразить даже слабый свет скрытых за облаками звезд. Внизу ветер почти не ощущался, но вершины елей раскачивались и заунывно шумели. Жохов поинтересовался, не страшно ли вечерами ходить тут одной.

– В Москве страшнее, – ответила Катя.

– Муж не встречает вас, если вы поздно возвращаетесь домой?

Она усмехнулась:

– Я бы спросила, встречаете ли вы свою жену, но не стану.

– Почему?

– Вы скажете, что у вас нет жены.

– У меня ее действительно нет, – виновато подтвердил Жохов. – Я разведен.

Жены у него было две. Первая – миниатюрная брюнетка и большая стерва, вторая – блондинка и рохля. Он слил их в одну, сказав, что пока жил с женой, по вечерам всегда встречал ее возле метро. Катя спросила, чего тогда развелись при такой идиллии. Он выразительно промолчал, давая понять, что рана еще не затянулась.

Вышли на опушку. Слева расстиралось снежное поле, синее от луны, впереди чернели вдоль дороги дома дачного поселка с безжизненно темными окнами.

- Кооператив Союза архитекторов, – сказала Катя.
- Вы архитектор?
- Нет. Тетка кончала архитектурный, я живу на ее даче.
- С теткой?
- Она в Москве.
- С кем же вы тут живете?

Она не ответила. Жохов решил, что в жизни у нее не все ладно. Женское несчастье действовало на него, как ветеринарные пилюли на героев фильма. В юности это казалось извращением, теперь – следствием тонкой душевной организации. Сочувствие чужому горю переходило у него на физиологический уровень. В шестом классе он полюбил одну девочку после того, как она при нем точила карандаш и порезала себе палец.

- Видите, – указал Жохов на луну, ущербную по левому краю, – луна растет.

Имелось в виду, что если их знакомство завязалось при этой лунной фазе, ему суждено счастливое продолжение и, может быть, прямо сегодня.

Остановились у калитки. Он достал спичечный коробок, который носил в кармане вместо зажигалки, чтобы было чем ковырять в зубах, чиркнул спичкой и, не закуривая, пояснил:

– У нас во дворе считалось, что когда парень провожает девушку домой и хочет ее поцеловать, у подъезда он должен зажечь спичку. Если девушка ее задует, значит, она согласна с ним целоваться.

Катя открыла калитку, женственно помахала ему рукой в красной варежке и скрылась в темноте.

К ночи подморозило, Жохов почувствовал, что его куртешка на рыбьем меху стала твердой, как жесть, и тонкой, как стрекозиное крыло. Почти до самого корпуса он бежал бегом. Поднялся к себе в номер, и догадкой обожгло прежде, чем включил свет. На второй кровати лицом в потолок мучительно храпел пенсионного вида дядька в сетчатой майке. От света он зажмурился, но не проснулся и храпеть не перестал.

Жохов пулей слетел вниз, нашел в задней комнате дежурную, пившую там чай с охранником в черном берете, и стал кричать на нее, чтобы убирала этого храпуна к чертовой матери.

Она зевнула.

– Вы же сами храпите. Этот товарищ мне тоже честно признался. Куда я его дену? Пожалуйста, доплачивайте четыре тысячи, и я переведу вас в отдельный номер.

Он вытянул сигарету, по старой советской привычке машинально размял ее, хотя она в этом совершенно не нуждалась. Нынешние сигареты без того сгорали со скоростью бикфордова шнура. Вслед за дымом взгляд поплыл по вымершему холлу – от стенда местного фотографа с образцами его продукции в одном углу до телефонной будки в другом. В этой точке глаза у него остановились и остекленели, как у второй жены, когда та лузгала семечки и никак не могла перестать.

В сейфе у дежурной хранились жетоны для разговора с Москвой. Он купил сразу десяток, вложил один в приемник, набрал номер.

– Николай Петрович?.. Жохов побеспокоил. Мы с тобой насчет сахара договаривались... Хорошо, что помнишь. Слушай меня внимательно, повторять не буду. Твой штраф – пятьсот тысяч. Счетчик завтра включаю... Ах ты, сволочь! Повтори, что ты сказал!

Раздались короткие гудки. Жохов плюнул и поплелся к себе на этаж.

В холле горел телевизор, диктор трагическим голосом говорил о том, что Съезд народных депутатов, идя на поводу собственных амбиций, отверг Обращение президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина от 20 марта 1993 года и отменил назначенный им

референдум по вопросу о доверии президенту и правительству. Затем он предоставил слово гостю студии.

Пока Жохов шел по коридору, тот бубнил ему в спину: «Поддержав решение съезда, то есть выступив на стороне одной из двух конфликтующих ветвей власти, Конституционный суд грубо нарушил конституцию, которую, согласно конституции, он призван защищать. В то же время президент, якобы нарушая конституцию, на самом деле следует ее духу, а не букве. Он реализует ее глубинные, фундаментальные основы, потому что именно через референдум осуществляется неотъемлемое право народа самому вершить свою судьбу...»

Сосед перестал храпеть, но за корпусом какие-то недоумки запускали фейерверк. Китайская пиротехника срабатывала не всегда, через раз дело ограничивалось пустым свистом. Когда петарда все-таки взрывалась, невидимый женский хор угодливо выражал свой восторг: «О-о-о!»

Жохов попил воды из графина, лег и стал думать о Кате, воображая ее абсолютно голой под домашним халатиком или даже прямо под кроличьей шубкой. Последний вариант был предпочтительнее. Он увидел, как она пытается прикрыть лобок худенькими руками, по-отрочески вылезаящими из протертых манжетов, как наконец покорно отводит их, понимая, что чему быть, того не миновать. Картина оказалась настолько трогательной, что опять пронзило умилением. На этом этапе Жохов остановился и скоро уснул.

Каждый вечер, уже в постели, Катя представляла себе, как в компании нескольких близких людей, женщин и мужчин, уменьшенных, как и она сама, до размера оловянных солдатиков или целлулоидных пупсиков времен ее детства, оказывается где-то далеко-далеко, за тридевять земель, в лесной глуши или в укромной горной долине, на пустынном острове, на клочке суши среди непроходимых болот. Там они строят большой дом и живут в нем прекрасной, полной трудов и опасностей жизнью, всё делая для себя сами. В пары никто не сбивается, общая дружба заменяет им любовь. У каждого есть своя комната, но по вечерам, окончив круг дневных забот, все собираются в общей гостиной. На сотни верст вокруг ни жилья, ни огня, но лампа надежно горит в абажуре, замыкая сидящих под ней в охранное кольцо своего света. Кто-то перебирает клавиши рояля, кто-то читает или играет в шахматы. Чай дымится в стаканах, а за окнами – зловещая темнота ночного леса.

Все началось так давно, что Катя уже не могла вспомнить, когда именно. Главным удовольствием было подробно обжить этот мир и дом, потом интерес постепенно иссякал до какого-нибудь катаклизма, после чего все начиналось сначала. Дом в лесу множество раз горел, скрывался под водами разлившихся рек и вулканической лавой, с годами в нем менялись постояльцы, но перед сном, лежа в постели, Катя по-прежнему сидела в светлой гостиной, уверенно руководила сложным вечерним уютом и одна из всех знала о надвигающейся катастрофе, вслед за которой опять взойдет солнце, застучат топоры, завизжит разрезаемое алмазом стекло. Парадокс был в том, что чем глубже погружалась она в свою фантомную жизнь и сильнее желала остаться там как можно дольше, тем скорее и крепче засыпала. Если же, как сегодня, тот мир оживить не удавалось, не получалось и заснуть, хотя, казалось бы, должно быть наоборот.

8

Утром Шубину позвонили из редакции.

– У меня для вас две новости, – сообщил Кирилл, – хорошая и очень хорошая. С какой начать?

– Давайте по нарастающей.

– Во-первых, вчера я переговорил с главным, он – «за». Сказал, что это будет у нас долгосрочный проект. Во-вторых, вам выписали аванс, надо сегодня же его получить.

Шубин сорвался и полетел. Жена проводила его в дверях, потом перешла к окну в кухне и, пока он не свернул за угол, смотрела ему вслед. Ее халатик пастельным пятном проступал за немытыми стеклами. Шубин знал, сейчас она собирает всю свою энергию, чтобы помочь ему в его делах. В такие моменты она всегда собирала энергию в пучок и мысленно присоединяла ее к его собственной или посылала туда, где решалось что-то важное для их семьи.

В бухгалтерию пошли вместе с Кириллом. Там он сразу притих и все время, пока шла процедура выплаты, не подавал признаков жизни. На лице у него читалось чувство неискупимой вины за собственную никчемность, с каким когда-то сам Шубин, юный литсотрудник областной комсомольской газеты, наблюдал работу сталеваров в горячем цеху.

Он расписался в нескольких ведомостях, но получил только то, что значилось в последней из них. Кирилл глубоким кивком удостоверил правильность выданной ему суммы. Это было меньше, чем надеялся Шубин, но больше, чем думала жена. Она всегда предполагала худшее.

Раньше он немедленно побежал бы за бутылкой, чтобы прямо в редакции отметить гонорар, но теперь этот ритуал утратил свою обязательность. При Брежневе все те, кто его печатал, считали себя его благодетелями, при Горбачеве – единомышленниками, сейчас – работодателями. Последнее не предусматривало личных отношений.

На улице Шубин нашел таксофон и позвонил жене. Она волновалась, что в последний момент денег все-таки не дадут. Звонить ей из редакции не хотелось, чтобы не показывать Кириллу с Максимом, как важен для него этот аванс. За прошлый год жизнь объяснила ему разницу между бедностью и нищетой. Разделявшая их черта была расплывчата, как в годы его юности монголо-китайская граница в Гоби, человек сам определял, по какую сторону от нее он находится. Бедность превращалась в нищету, когда не хватало сил ее скрывать.

– Сколько они тебе дали? – спросила жена.

Он назвал цифру.

– Ты говорил, что дадут больше, – напомнила она.

Ее собственный прогноз в расчет не принимался. Из всех ситуаций она безошибочно выбирала ту, в которой можно почувствовать себя несчастной.

Было около двух, но в большинстве магазинов обеденный перерыв уже отменили. Слишком высоки были ставки в этой игре, чтобы на целый час выходить из нее среди бела дня. С приятным сознанием своей платежеспособности Шубин прошелся по ближайшему гастроному, ничего не купил из опасения расстроить жену, не любившую непредусмотренных трат, и на углу сел в трамвай № 27. Его бесконечный маршрут давно собирались разбить на два, чтобы пассажиры платили двойную цену, но теперь это стало не важно, талоны все равно никто не пробивал. Редкие контролерши опасались связываться с озлобленными мужиками и взымали штраф преимущественно с женщин, и то самых тихих и безответных. Правда, в последнее время за эту бросовую деланку взялись шустрые парни, работавшие не в одиночку, а группами. Они одновременно вваливались в вагон, перекрывая все выходы и продвигаясь друг навстречу другу, как при облаве на евреев в оккупированной Варшаве. Их рвение говорило о том, что выручку эти ребята делят между собой.

До дому ехать было около получаса – жили за Верхней Масловкой, между Эльдоравским тупиком, улицей 8-го Марта и обширными плантациями районной станции юннатов, ныне заброшенными, с мертвой оранжереей, где обитали бомжи. За первые десять минут Шубин лишь однажды услышал стук компостера, хотя люди входили на каждой остановке.

В начале перестройки академик Лихачев сказал, что всякий ездивший в трамвае и купавший билет несет долю ответственности за преступления коммунистического режима. За преступления нынешней власти Шубин не отвечал, поскольку ездил зайцем. В бумажнике у него вторую неделю лежал один неиспользованный талон, но пробить его следовало не раньше,

чем появятся контролеры. Когда трамвай останавливался, он заранее всматривался в лица будущих пассажиров, пытаясь угадать среди них вероятного врага.

Рядом сидел мужчина в кроличьей ушанке, с привинченным на груди, прямо поверх китайского пуховика, бело-голубым пединститутским ромбом. Он что-то бормотал, ни к кому не обращаясь, но вином от него не пахло. В ту зиму таких людей было много.

Вдруг он вполне членораздельно произнес:

– Три короля из трех сторон решили заодно...

И замолчал, выжидаяще глядя на Шубина. Тот, как мог, продолжил цитату:

– Сгинь ты, Джон Ячменное Зерно!

– Пророчество о Беловежском соглашении, – доброжелательно объяснил этот педагог и, как ребенок, стал дышать на грязное трамвайное стекло, протирая его рваной перчаткой.

Дома Шубин опять сел писать свой очерк. Сын был в садике, за стеной тренькали на рояле. Жена занималась с очередным учеником.

– Тьям-пам-пам! Тьям-пам-пам! – артистично подпевала она, задавая темп и одновременно призывая к легкости, радости жизни, свободе.

На крышке рояля лежала доставшаяся ей от бабки настенная тарелка с эмалью. Рисунок изображал Геркулеса, разрушающего пещеру ветров. Сюжет становился все актуальнее. Наивный герой полагал, что освобожденные им аквилоны и бореи благодарно примутся вращать мельничные крылья и надувать паруса кораблей, а они с воем разлетелись по миру, сея ужас и смерть. Под Новый год жена носила эту тарелку в антикварный магазин и со слезами принесла обратно, оскорбленная предложенной суммой. Ученик, его мама или бабушка перед уходом клали в нее триста рублей. При Горбачеве урок стоил десятку, что примерно равнялось нынешним пяти-шести сотням, но запрашивать такую цену было опасно, желающие учиться игре на фортепиано убывали с каждым сезоном. Когда-то в учениках у жены числились правнук нарком-индела Чичерина, внучка министра среднего химического машиностроения и дочь одного из брежневских референтов, а сейчас приходилось заниматься с соседскими детьми, да еще и хвалить их ни за что, чтобы не разбежались. Потомки сильных мира сего с музыки перешли на теннис.

– Теперь то, что ты выучил маме на день рождения, – сказала за стеной жена.

Зашелестели ноты, заковылял по клавишам будущий сюрприз: «По разным странам я-а бродил, и мой сурок со мно-ою...»

Под эту музыку Анкудинов пересек государственную границу на удивление легко. В Туле он просто нанял возницу с подводой и без всяких сложностей добрался до Новгорода Северского, после Смуты отошедшего к Речи Посполитой. Здесь он объявил воеводе свое подлинное имя. Тут же его отвезли в Краков, к королю Владиславу.

Анкудинов рассказал полякам, что когда в 1610 году Василия Шуйского свергли с престола, постригли в монахи и увезли в Польшу, ему, царевичу Ивану, не исполнилось и полугода. Чтобы спасти единственное чадо, родители втайне отдали младенца на воспитание верным людям. Сами они умерли в польском плену, а царевич вырос, возмужал и был предъявлен царю Михаилу Федоровичу. Благонравный молодой человек пришелся государю по душе. Юношу не казнили, не заточили в монастырь, однако держать его при дворе, где он мог быть втянут в какой-нибудь заговор, царь тоже не захотел. Ему присвоили княжеский титул, назначили наместником Перми Великой и отправили в почетную ссылку на берега Камы и Колвы. Несколько лет он, князь Шуйский, прожил в Чердыни, но, соскучившись в таежной глуши, самовольно возвратился в столицу. Это был опрометчивый поступок. Царь повелел заточить ослушника в тюрьму. К счастью, те же верные люди, которые его вырастили, подкупили стражу и помогли ему бежать в Северскую землю.

О Перми Великой он мог болтать что угодно, уличить его было некому. Даже в Москве плохо представляли себе этот дикий полунощный край, а в Кракове и подавно. Анкудинов повествовал о нем с таким вдохновением, что один краковский каноник, уроженец Флоренции, записал и сохранил для потомков его рассказы. Из них вырисовывается образ чудесной земли, где люди живут в шалашах из бересты, едят сырое мясо, но одеваются в меха, каким позавидовали бы все владыки мира. Пушного зверя им даже промышлять не надо, потому что каждый год под Рождество там бывает большая война соболей с горностаями, после нее на поле битвы остаются сотни павших бойцов, и охотнику остается лишь сдирать с них драгоценные шкурки.

Чуть ли не от сотворения мира идет в Перми Великой и другая, тоже вечная, война серых журавлей с тамошними пигмеями. Подобно кругу, не имеет она ни конца, ни начала. Карлики неустанно преследуют этих птиц, охотятся на них с камнями и саадаками, отслеживают их гнезда, бьют яйца, сворачивают шеи птенцам, а журавли нападают на своих врагов целыми стаями. Они оглушают и ослепляют их ударами крыльев, клювами протыкают шеи, выкалывают глаза или приносят в когтях горящие ветки, взятые на лесных пожарах, и сбрасывают на хижины этого малорослого племени. Что и когда они не поделили, остается загадкой. Карлики на такие вопросы не отвечают, журавли, само собой, тоже молчат. «Иной раз мнится, что ни те ни другие сами того не знают», – закончил свою историю Анкудинов.

Как обнаружилось, «Илиаду» он не читал и не подозревал, что война журавлей с пигмеями описана еще у Гомера. Тем сильнее впечатлил каноника его рассказ. «Все услышанное мною от этого московита, – заметил он в своих записках, – заставляет думать, что иные миры, о которых говорил Демокрит, воистину существуют».

Анкудинова оставили в Кракове, чтобы при случае использовать его как разменную карту в игре с Кремлем. Здесь он прожил почти два года, овладев тремя языками – латынью, немецким и польским. Последним – настолько, что сочинял на нем стихи.

В Москве быстро прознали про самозванца. Русские послы заявили полякам, что Василий Шуйский был бездетен, у двоих его братьев родились только дочери, а государевых наместников в Перми Великой отродясь не бывало. «Тот вор вляется в государское имя», – говорили послы, но не могли объяснить, кто таков этот московский царевич и откуда взялся. Им предпочли не верить. Анкудинов продолжал спокойно жить в Кракове, пока сам же не совершил роковую ошибку.

Он не знал, что священник местной православной церкви – тайный московский агент, и как-то раз попросил его молиться за раба божьего Тимофея. Из разговора ясно было, что имеется в виду сам проситель. Священник донес в Москву, там произвели сыск и уже с фактами в руках потребовали выдать беглого подьячего Тимошку Анкудинова, называющего себя князем Шуйским.

Началась торговля. Поляки настаивали на доказательствах более весомых, из Москвы слали показания свидетелей. Среди них выделился своим усердием подьячий Василий Шпилькин из числа анкудиновских кредиторов. Он служил в Посольском приказе и добился командировки в Краков, чтобы опознать самозванца на месте. Выданный ему из казны запас соболей должен был убедительно аргументировать его точку зрения при встрече с панами из королевской рады, но соболей у него не взяли и царевича не показали. С тех пор Шпилькин возненавидел Анкудинова еще сильнее.

Переговоры продвигались не так скоро, как хотелось бы Москве, однако исход их не вызывал сомнений. Король Владислав готовился к войне с турками и не склонен был ссориться с царем по пустякам. Анкудинов это понимал, и однажды утром посыльный из Вавеля не застал его дома. Ни к вечеру, ни на другой день он не появился, но тревогу забили не сразу. Польское легкомыслие и московская волокита были двумя ликами мудрого славянского Януса, знающего, что единственный способ остановить время – не замечать его быстротечности. Прошло три дня, прежде чем снарядили погоню. На какой дороге искать беглеца, никто не знал,

высланные за ним шляхтичи без толку пометались вокруг столицы и ни с чем вернулись назад. Анкудинов пропал бесследно. Остались от него рассказы о Перми Великой, кое-какая рухлядь да еще найденные на квартире польские и русские вирши, темные от множества иносказаний. Из них можно было понять одно то, что сочинял их человек непростой.

За полгода перед тем Анкудинов сошелся в Кракове с вдовой одного православного купца из Полоцка, после смерти мужа оставшейся жить на чужбине. Женщину допросили, не слыхала ли она, куда намеревался бежать ее любовник. Все было бесполезно, вдова ничего не знала или не хотела говорить. Ее стали пытать. Тогда, путая астрологию с астрономией, она рассказала, что царевич «звездочетные книги читал и астроломейского учения держался». По этому учению выходило, будто ему на ней жениться никак нельзя. Его царица, говорил он ей, рождена под иной звездой, и если он против «астроломии»

пойдет, не бывать ему государем на Москве, а через то всей православной вере будет большая беда.

Ей велели вспомнить, когда она последний раз видела своего коханого и о чем они говорили. Вдова вспомнила, как дня за два, за три до побега он пришел вечером, хотел с ней возлечь, а она не захотела, потому что не припас для нее никакого подарочка. Он тогда сказал: «Нет, сердце мое, никак не могу себе этого позволить».

Она думала, что ему жаль грошей на подарочки, и, желая попрекнуть его жадностью, спросила: «Чего это ты, батюшка, позволить себе не можешь?»

«Нарушать закон, всем тварям даденный», – ответил Анкудинов и рассуждал о том долго, многожды ссылаясь на Священное Писание. Ей пришлось лечь с ним, чтобы не вышло ничего богопротивного.

После утех, утеревшись и помолчав немного, он сказал со вздохом: «Правду молвить, оно того не стоит, чтобы из-за него образ свой поганить. Пакость одна».

«Что?» – не поняла вдова.

Он рассердился на ее бабью дурость, но объяснил: «То самое, что мы с тобой сейчас творили».

Ей это сделалось обидно, она заплакала. Анкудинов стал ее утешать, говоря: «Напрасно ты, я ведь тебе не в укор. Я в одной книге читал, что Бог-от, он не желал, чтобы между мужчиной и женщиной было такое свинство. Это Адам с Евой сами выдумали, а Господь в наказание нам так все и оставил. По первости у него насчет нас другая была мысль».

«Для чего же, – возразила вдова, – нам всем детородные части дадены?»

«Урину отводить, – отвечал он. – Прочее на них со временемросло, как мозоль. Оттого что мы их употребляем не по назначению».

У него на все готов был ответ, о чем ни спроси. Вдова, однако, не унялась и заспорила: мол, детишки бы тогда отколь брались? Этого он ей не раскрыл, сказал только, что Господь неисповедимым промыслом своим хотел так все устроить, чтобы люди плодились и размножались без соития. Животные бы так же, как теперь, а люди – иначе.

«Как?» – спросила вдова.

Он засмеялся: «Э-э, чего захотела! Того ни в одном государстве никто не знает».

«И архиереи, – усомнилась она, – не знают?»

«Ни один человек», – заверил ее Анкудинов, после чего встал, оделся и ушел среди ночи.

Глава 4

Снегопад

9

На даче у тетки Катя жила третий месяц. Это была единственная близкая родственница. Мама умерла от рака прямой кишки еще при Брежневe, а отец лишь однажды возник из небытия, когда Катя на своем библиотечном факультете в Институте культуры уже писала диплом по каталожной системе Ранганатана. Маме он заявил, что как отец должен знать о дочери все, даже то, о чем при матери она говорить не захочет, сейчас они вдвоем поедут в ресторан, где им никто не помешает. Мамины протесты остались без внимания, Катя подмазала глаза, встала на каблуки и, как на сцену, вышла из соседней комнаты. Отец ахнул. На такси отправились в «Якорь» на улице Горького, там он сначала рассказывал ей о своей теперешней жене и детях, какие они у него замечательные, потом быстро напился и ушел с какой-то девкой, которую подцепил прямо в вестибюле. Больше Катя его не видела.

Замуж она вышла поздно. Задолго до этого будущий муж вместе с другими маленькими человечками поселился в ее доме среди лесов и болот, но был изгнан оттуда раньше, чем из квартиры на Дружинниковской улице. Они еще не развелись, когда ее лесной дом, внутри оставаясь прежним, начал ускользать из привычной системы координат. Много лет он находился в сибирской тайге, на Аляске, в ледяных пустынях Памира, где-то бесконечно далеко, хотя теоретически его все-таки можно было отыскать на карте, но теперь сначала отодвинулся в полную географическую неопределенность, как острова блаженных, а затем и вовсе пересек черту между тем миром и этим. После развода в нем появились первые мертвецы – двое бывших одноклассников, о которых никто не знал, что они любовники, пока их не нашли в квартире с открытыми газовыми вентилями. Со временем Катя стала понимать, что означает ее желание поскорее лечь в постель и очутиться в том, настоящем своем доме, куда все чаще стала уходить днем, в метро, в магазине, на работе. Это царь смерти манил ее к себе из уютно желтеющих в темноте окон. В конце концов она решительно выселила оттуда всех покойников, перенесла свой фаланстер поближе к Москве, и он вновь стал приятной предсонной забавой, не более того.

Утром Катя отметила, что поглядывает на себя в зеркало глазами вчерашнего знакомого. Это был хороший знак. Душа начала оттаивать после недавнего романа с молодым, моложе ее, мастером по установке спутниковых тарелок, в прошлом – майором ракетных войск стратегического назначения. Познакомились в «Строителе» месяц назад. Несколько раз ходили в кино, он дал ей почитать «Воспоминания и размышления» маршала Жукова с карандашными пометами на полях против тех мест, которые в прежних изданиях вымарывались цензурой. В нем ощущалось ровное достоинство высококлассного специалиста, знававшего лучшие времена, но отдающего себе отчет в том, что судьба работает не с анкетами из отдела кадров.

Жил он в номере на двоих, после ужина Катя привела его на теткин дачу. Выпили сухого вина, немного потанцевали под транзисторный приемник. Раздевать ее он начал как-то очень вовремя, не раньше и не позже, чем нужно. Легли, дальше все пошло наперекосяк. Он, видимо, считал, что порядочная женщина должна раздвинуть ноги и лежать под ним как бревно, в крайнем случае может руками развести себе губы, если прицел взят неверно, и несказанно изумился, когда Катя, облегчая ему задачу, сама ввела в себя его член. После этого он решил, что с ней все позволено, и стал требовать от нее всяких штук. Она попробовала объяснить, что они еще слишком мало знают друг друга, чтобы подобные изыски могли доставить им

удовольствие. Началась какая-то дикая торговля, вдруг ему стукнуло в голову, что от такой, как она, нужно ждать беды. Он вскочил как ошпаренный, налил воды в кастрюлю, поставил на газ и нервно курил, то и дело пробуя воду пальцем. Потом побежал с этой кастрюлей во двор и долго мылся там с мылом. Обратного Катя его непустила. Одежду и мемуары Жукова выкинула за дверь, прямо на снег. Он ушел, тогда она тоже согрела воды, вышла с ковшиком в сени и заревела белугой, стоя на холоде в одной ночной рубашке с кружевами на груди, купленной с рук у Казанского вокзала, в корейских тапочках с бантиками. Дура, дура, какая дура, Господи! Бросилась в дом, стала целовать фотографию Наташи, шепча: «Прости, девочка моя! Прости меня, дуру!»

Наташа училась во втором классе, ей надо было ходить в школу. Безмужняя и бездетная тетка до весны согласилась взять ее к себе. С дочерью Катя виделась раз в неделю, но ежедневно писала ей длинные письма с новостями из жизни соседского кота, на самом деле еще осенью задранного собаками, и семейства снегирей, по утрам якобы прилетающих к ней из леса вместе со снегирятами.

Вечером опять отключили электричество. Свечами она запаслась, но была опасность, что если вчерашний знакомый решит навестить ее после ужина, с улицы он может не увидеть огонек в окне. Катя оделась и вышла на крыльцо. Деревья и крыши тонули в незаметно начавшемся снегопаде, сквозь него едва виден был свет в одном из домов на другой стороне улицы. Там круглый год жила чета еще крепких пенсионеров с телефоном на станционном коммутаторе и громадным ротвейлером, приученным не обнаруживать себя напрасной брехней, а молча напрыгивать на чужака и валить его на землю. Это соседство делало зимние ночи не такими страшными.

Из белой пелены вынырнул и притормозил у калитки облепленный снегом «жигуленок». Впереди сидели двое кавказцев, сзади – молодой мужчина славянской внешности в надвинутой на глаза собачьей шапке. Катя рассмотрела его, когда он, опустив стекло, спросил:

– Девушка, в «Строитель» правильно едем?

10

С утра Жохов сделал несколько деловых звонков, израсходовал почти все жетоны, но ничего не вызвонил. У Гены никто не отвечал. После обеда он лег на кровать, раскрыл привезенного из дому «Чингисхана» и прочел первый абзац: «Сокол в небе бессилён без крыльев, человек на земле немощен без коня. Все, что ни случается, имеет свою причину, начало веревки влечет за собой конец ее. Взятый правильно путь через равнины вселенной приведет скитальца к намеченной цели, а ошибка и беспечность завлекут его на солончак гибели».

Он перевернул страницу. Из книги выпал и порхнул на пол листочек с машинописным текстом, с позавчерашнего вечера лежавший между страницами, как раньше – письмо отца.

Сосед поднял его и прочел: «ЕВРОПИЙ. Последний редкоземельный элемент цериевой подгруппы (лантаноиды), № 63 в таблице Менделеева. Выделен в чистом виде французским химиком Демарсэ в 1896 г. Металлический европий впервые получен в 1937 г. Входит в число наиболее сильных поглотителей тепловых нейтронов, на этом базируется его применение в атомной технике и технике защиты от излучений. Радиоактивный европий, полученный в ядерных реакторах, используется при лечении некоторых форм рака. Применяется также как активатор люминофоров в цветных телевизорах. Из всех лантаноидов только ионы европия дают излучение в воспринимаемой человеческим глазом части спектра. Луч европиевого лазера – оранжевый».

Прошлым летом Жохов мотался по Уралу в надежде наладить прямой контакт с непосредственными производителями и однажды заночевал в гостинице заводского поселка под Свердловском. Вечером спустился в гостиничный ресторан, заказал полтора грамма сала-

тик, горячее. Водку принесли сразу, а горячего надо было подождать. Он выпил рюмку и пошел в туалет. Вернувшись, обнаружил, что возле стола стоит обтерханный мужичок с клеенчатой кошелкой в руке и судорожно заглатывает водку из его рюмки. Графинчик был уже пуст.

При виде Жохова мужичок закричал: «Что смотришь? Ну дай мне в морду! Дай! Дай!» На них стали оглядываться. Жохов развернул его лицом к двери и легонько поддал в спину. Тот колобком покатился к выходу, но скоро встретились опять. Мужичок околачивался в холле возле ресторана, охранники его не гоняли. «Это ты, братан, из Москвы?» – как ни в чем не бывало спросил он с деловым прищуром. Выяснив, что да, поманил за собой на лестницу, там вынул из кошелки серебристый диск, хранившийся теперь в дядькином обувнике. «Европий, – проинформировал он. – Его тут на десять тысяч баксов, бля буду! Отдаю за пятьсот».

В дороге Жохов наслушался историй о таких алкашах. Бывшие кладовщики, сторожа, учетчики, они припрятали в своих отнорочках часть несметных сокровищ старого режима, но распорядиться ими не умели, настоящей цены не знали и порой отдавали их за бутылку. Те, кому выпадала удача вовремя повстречать этих простодушных гномов, сказочно обогащались. Как при Демидовых, везло простым людям с чистым сердцем и трудной судьбой. Все было по Бажову, разве что сирот называли теперь детдомовцами, место беглых крестьян заняли русские беженцы из Чечни и Таджикистана, а бессрочно-отпускных солдат заменили боевые офицеры, прошедшие Афган и несправедливо уволенные из армии.

Жохов решился сразу, хотя был риск, что когда спадут чары, клад обернется коровьей лепешкой. Он сбил цену до трех сотен и не прогадал, в Москве подтвердили: да, европий. Мужичок немного ошибся, но не в ту сторону, в какую обычно ошибаются продавцы. Трехкилограммовый диск тянул примерно на тридцать тысяч долларов. За такие деньги можно было купить три, а то и четыре однокомнатные квартиры в центре. Неделью Жохов ходил сумасшедшим от радости, однако за восемь месяцев покупателей так и не нашлось. Знающие люди говорили, что Европа остро нуждается в этом металле, но о том, чтобы пройти с ним пограничный контроль, нечего было и мечтать. Единственного человека, проявившего интерес к его сокровищу, он упустил по собственной дурости. Тот попусту прождал целый час, ушел и больше не появился. Жохов опоздал на встречу с ним, забыв, что накануне ночью часы перевели на осеннее время.

– Торгуешь им? – спросил сосед.

– Изучаю.

Он заложил листочек обратно в книгу и стал читать о том, как дервиш Хаджи-Рахим спас в пустыне раненного разбойниками незнакомца, из чалмы у которого выпала открывающая все двери золотая монгольская пайцза с изображением сокола и буквами неизвестного алфавита, похожими на бегущих по тропинке муравьев.

Сосед на своей койке пошелестел газетой «Куранты» и сказал:

– Семьдесят лет у власти, а не могли наладить в стране нормальное автомобильное производство!

На ужин отправились вместе. За столом сосед изложил свою позицию по вопросу о референдуме, назначенном на 25 апреля. Он был за референдум, потому что Ельцин – президент, а Хасбулатов – чечен, и против решения Конституционного суда, потому что Зорькин – проститутка.

После печенки с рисом официантка принесла пшениную кашу.

– Да-а, – вздохнул сосед, разглядывая растекшееся по тарелке грязно-желтое пятно с плевочком масла, похожего на машинное, – правильно царь сделал, что декабристов повесил.

– Что это вы про них вспомнили? – удивился Жохов.

– Повесили их, голубчиков, и мы сто лет жили себе спокойно, как во всех цивилизованных странах. А с большевиками процацкались, и вот результат, – ткнул он ложкой в комковатую пшенку. – Перед революцией Россия по темпам развития занимала первое место в мире.

Если б не Ленин, знаешь, какую бы мы с тобой сейчас кашу ели?

– Какую?

– Гурьевскую! Это, я тебе доложу, вещь.

Он стал рассказывать, как повар графа Гурьева, самородный русский гений, придумал не варить манку на молоке, а жарить на молочных пенках. Слушая, Жохов с аппетитом доел то, что дали, встал и прошел в коридорчик между раздаточной и кухней. Там булькала вода в баке, на оцинкованном столе громоздилась гора грязных тарелок. Судомойка брала их по одной, щеткой сгребала немногочисленные объедки и сбрасывала в эмалированное ведро с надписью «Пищевые отходы. № 1». У дверей сидела официантка.

– Я с ним уже полгода, – рассказывала она. – Он ко мне по субботам приезжает из Москвы, ночует у меня. В ту субботу я его спрашиваю: «Ты как представляешь себе наше будущее? Что ты вообще думаешь о наших отношениях?» Он говорит: «Никак не представляю. Думаю, мы с тобой замечательно проводим время».

– Так и сказал? – ужаснулась судомойка.

– Слово в слово.

– Вот сволочь!

Она взяла очередную тарелку и пожаловалась:

– Прямо не знаю, брать поросенка, не брать. Не прокормишь ведь! Отдыхающие нынче всё подчистую сметают.

Узнав у них, что шатенка в клетчатой юбке, берущая обеды на дом, сегодня не появлялась, Жохов направился к выходу. Начался снегопад, мокрые хлопья валили с невидимого неба. На ужин он явился без шапки и в одном свитере, по дороге до корпуса волосы вымокли от снега. Пока сбивал его с ботинок, две девушки заняли таксофон.

Жохов прошелся по холлу. Дежурная отлучилась, ее место занимал охранник в черном комбинезоне с нашивкой охранного агентства на рукаве. На ней были изображены две рыбы. Не имеющие век, спящие с открытыми глазами, они символизировали бдительность.

Рядом с рецепцией сосед изучал прейскурант здешней сауны и хотел привлечь Жохова к обсуждению расценок, но тут как раз освободился таксофон. Гена был дома.

– Извини, я ужинаю, – сказал он с набитым ртом. – Все в порядке, сегодня я с ними встречался. Они очень заинтересованы, но хотят сами взять пробу. Предлагают встретиться завтра в два часа. Если тебе удобно, назначь место. Я сейчас выйду к автомату и отзвоню им, что мы согласны.

– Удобно, назначай возле института. Зайдем к тебе в лабораторию, так будет проще всего.

Договорились встретиться в половине второго на «Войковской». Вешая трубку, Жохов сквозь стеклянную дверь увидел, как из снежной пелены вынырнула и остановилась перед крыльцом знакомая «шестерка». Погасли фары. На одну сторону из машины вышел Ильдар, на другую – Хасан и смутно знакомый малый в собачьей шапке.

Мелькнула мысль, что он, значит, его и выследил. Где и когда, было уже не важно. Жохов чинно прошагал мимо рецепции, улыбнулся соседу, но за его спиной метнулся вверх по ступеням. Из окна на площадке успел заметить, что Хасан с Ильдаром остались у машины. Третьего с ними не было.

В номере он натянул куртку, проверил в кармане паспорт, пихнул в сумку первые попавшиеся вещи. Сердце трепыхалось у горла, но голова работала четко. Пока этот малый будет ждать дежурную и узнавать у нее номер комнаты, всего-то и нужно добежать до боковой лестницы, а там уйти через черный ход. Застегнул молнию, закинул сумку на плечо. С ее ремнем на правом плече он всегда чувствовал себя молодым и вольным как ветер, даже если отправлялся с ней в овощной ларек за картошкой.

Выглянул в коридор и отпрянул. Со стороны центрального холла донесся голос соседа:

– Вот тут мы и живем!

Запели разболтанные паркетины. Жохов бесшумно защелкнул замок изнутри, погасил свет и в два прыжка оказался на балконе. Наружная ручка на двери была оторвана. Ломая ногти, он плотно притворил ее за собой, чтобы не догадались, где его искать.

Рядом, опоясывая здание, тянулся широкий карниз. По нему можно было добраться до пожарной лестницы. Ее прозрачный силуэт виднелся справа, метрах в десяти.

Перебравшись через перила, Жохов присел на корточки, перчаткой сквозь прутья заровнял свои следы, оставшиеся в снегу на балконе, снова выпрямился и оценил предстоящий маршрут. По дороге требовалось преодолеть два таких же балкона. Свет в этих комнатах не горел. С одной стороны, это было хорошо, потому что никто не обратит на него внимания, с другой – плохо, а то мог бы выйти из корпуса через соседний номер. Там жила одинокая женщина с маленьким мальчиком, которого он утром немного покатал на санках.

Постучав и подергав дверь, сосед открыл ее своим ключом. Форточка была открыта, Жохов услышал его голос:

– Только что наверх пошел. Наверное, заглянул к кому-нибудь на этаже. Человек общительный... Посидите, сейчас придет.

Зажглась люстра. Гость осмотрел ванную, сунулся в стенной шкаф, затем пересек комнату и лбом припал к стеклу балконной двери. Вокруг освещенного пятачка с лежавшей на нем его собственной тенью все тонуло в темноте и густеющем снегопаде.

Жохов увидел эту тень и вжался в стену над карнизом.

– Давайте познакомимся, а то неудобно, – сказал сосед. – Меня зовут Владимир Иванович.

– Сева, – ответил гость, по-прежнему стоя возле балкона.

– Всеволод, значит. Вы москвич?

– Коренной.

– Значит, родились в Москве?

– Значит, – удаляясь, прозвучал другой голос, – дед не помнит, кто его отца в Москву привез.

Тень на балконе пропала. Жохов осторожно переступил по карнизу. Льда на нем почти не было, подошвы всей плоскостью прочно вставали на кирпичи. Вначале передвигалась правая нога, к ней приставлялась левая. Сноровка приходила с опытом, лишь однажды ботинок поехал на пласте штукатурки, утратившем всякую связь с кирпичной кладкой. Уже на самом краю удалось продавить его каблуком, он хрустнул и распался на куски. Снежная бездна поглотила их без единого звука.

Сумка на плече цеплялась за стену, мешала идти. Жохов взял ее в руку, но так труднее стало сохранять равновесие. Он бросил сумку вниз и шепотом чертыхнулся, увидев, что до земли она не долетела, повисла на торчавшем из стены железном штыре. Когда-то к нему крепился фонарь, исчезнувший вместе с кронштейном еще при последних генсеках. С этой стороны корпуса по ночам царила египетская тьма.

Ремень сумки зацепился за самый кончик штыря – покачнешь, и упадет. Он решил, что проще будет достать ее снизу, и двинулся дальше. Перелезть через балконы оказалось проще всего. Добрался до лестницы, ухватился за боковину, нащупал ногой ступеньку из арматуры. Нижние перекладины были забиты досками, чтобы не лазили мальчишки, пришлось прыгать с двухметровой высоты.

Приземлившись, Жохов отмыл снегом ржавчину с ладоней, подобрал сухой сук и попробовал поддеть сумку, но не дотянулся до нее даже в прыжке. Палок подлиннее поблизости не было, зато в сугробе угадывались битые кирпичи. Он выбрал обломок по руке, зашел сбоку, примерился и попал с первого раза. Сумка покачнулась, но не упала.

В комнате сосед говорил Севе:

– У меня двое детей, оба бизнесмены. Особенно дочь. Навезла мне всего. Сейчас чаек организуем. Кипятильничек у меня всегда с собой, я без него никуда.

Лишаться собеседника ему не хотелось.

– Сталина им не хватает! – сердито сказал он, распечатывая пачку «Юбилейного». – Вы, кстати, в курсе, кто он был по национальности?

– Грузин, – ответил Сева.

– Это еще вопрос. Помните, как у него настоящая фамилия?

– Какая-то грузинская.

– Джугашвили. А «джу» по-английски значит «еврей».

Второй кирпич, пролетев мимо сумки, ударился в балконную ограду под перилами. Заныли железные прутья.

Рванув дверь, Сева выскочил на балкон, тут же метнулся назад, скатился по лестнице, вылетел на крыльцо и побежал вдоль стены, жестом увлекая за собой Хасана с Ильдаром. Все трое свернули за угол, но Жохов уже пропал, осталась только цепочка следов между корпусом и темной стеной парка.

11

После ужина Шубин полчаса походил по улице. Было тепло, около нуля, но в воздухе стоял особый стылый запах, предшествующий весеннему снегопаду. Он шел и, как в детстве, внимательно смотрел себе под ноги. В последнее время его преследовала маниакальная надежда найти бумажник с долларами. Больше всего пугало то, что внутри этого безумия логика ему не изменяла, причинно-следственные связи выстраивались в безукоризненном порядке. Предполагалось, что бумажник выронит хозяин какой-нибудь дорогой иномарки, когда будет вынимать ключи и открывать дверцу припаркованной машины, поэтому Шубин старался идти не по тротуару, а по кромке проезжей части.

Его шансы возрастали возле празднично сияющих в темноте коммерческих ларьков, казавшихся скопищами сокровищ, возле ресторана «Эльдорадо», в прошлом – клуба Военно-воздушной академии имени Жуковского, и нового автомобильного магазина, где кроме запчастей для «мерседесов» и «вольво» продавали серебряные, с бирюзой, брелоки для ключей зажигания, приборные панели из натурального ореха, рулевое колесо, обтянутое оленьей шкурой. Свои расчеты Шубин лицемерно маскировал под игру, но временами делалось не так даже стыдно, как страшно от мысли, что все это происходит с ним самим, и не во сне, а на самом деле.

У дома взгляд невольно уперся в то место, куда осенью упал живший этажом ниже военный пенсионер, гроза дворовых собачниц. Вечером он посмотрел по телевизору передачу о том, как живут в Германии ветераны войны, сказал жене, что выйдет на лоджию покурить, вышел и прыгнул с десятого этажа. Жена хватилась его минут через пятнадцать. Окно в комнате Шубина было открыто, он слышал звук, похожий на тяжелый глухой шлепок, с каким падает раскачанный и с маху заброшенный в кузов грузовика куль цемента, но в темноте ничего не разглядел. Потом внизу закричали, приехала «скорая». С рассветом на газоне отчетливо проступило пятно примятой упавшим телом вялой осенней травы. Собаки, выходя на утреннюю прогулку, прямо от подъезда начинали рваться туда, натягивая поводки и таща за собой хозяев.

В прихожей Шубин спросил жену, не звонил ли ему кто-нибудь. Это было первое, о чем он спрашивал у нее, приходя домой. Она сказала, что никто не звонил.

Он попил чаю и снова сел за машинку. За окном туманными огнями лежал город, за год ставший чужим. Было чувство, будто его жизнь надпилили в нескольких местах и пытаются сломать то по одному надрезу, то по другому.

Под крышей их четырнадцатизэтажной панельной башни висел прожектор, направленный на площадку перед единственным подъездом. Недавно на него скинулись домовые автовладельцы, а то оставленные у подъезда машины раздевали чуть не каждую ночь. В его прицельном луче за окном повалил снег, а в Молдавии, куда из Кракова направился Анкудинов, настала пора снимать виноград. В августе 1645 года он объявился в Сучаве, при дворе господаря Василия Лупы.

Из Кракова его путь каким-то образом пролегал через польский Люблин. Вероятно, ему пришлось на ум сделать петлю, чтобы запутать следы. В Люблине он видел здание сейма, в котором после недавних дебатов о том, объявлять войну туркам или нет, выбиты были все окна. Этот вопрос шляхта обсуждала с такой заинтересованностью, что не оставила в рамках ни одного целого стекла. Даже окончины кое-где были порублены саблями. Зрелище громадной хоромины, пустынно зияющей оконными провалами, произвело на Анкудинова сильное впечатление. Позднее, сравнивая республиканскую форму правления с монархической, он часто о нем вспоминал.

В Сучаве его ожидало непредвиденное известие. Оказалось, тремя годами раньше сюда уже прибегал с Руси какой-то человек, тоже назвавшийся сыном Василия Шуйского, только не Иваном, а Семеном. Идея носилась в воздухе, как запах дыма после пожара.

Молдавские бояре спросили Анкудинова, знает ли он того человека. Он не смутился и отвечал, что это его старший брат. Бояре рассказали ему, что его брат показывал у себя промеж грудей тайный знак, в материнском чреве ангельской дланью печатан, – крест волнист, а справа над перекалиной звезда с лучами. Он говорил, будто у Шуйских в роду все сыновья рождаются с такой печатью, но немецкий доктор, осмотрев пятно, нашел, что оно не прирожденное, выжжено раскаленным серебром. Тогда господарь выдал самозванца русскому послу Дубровскому. Посол приказал его убить, а отсеченную голову и кусок кожи, где находился этот знак, отослал в Москву.

Выслушав, Анкудинов спросил: «Ваш лекарь как болезнь узнает, по крови или по водам телесным?»

Бояре ответили, что по крови – отворяет вену и смотрит.

«Ну так ждите беды, – предостерег их Анкудинов. – Добрые лекари по урине смотрят, а ваш-от вляется в лекарское звание. Ему ни в чем веры давать нельзя. Гоните его, только греха вам уже не избыть, кровь брата моего с ваших рук взыщется. Тот знак, крест со звездой, – истинный».

«И на тебе он есть?» – спросили бояре.

Он в ответ заявил: «Вы братнины слова слышали, да не уразумели. Тот знак бывает у старшего сына, а я – младший».

Понимая, что убедить их не удалось, Анкудинов ночью выбрался из окна и дал деру, но молдавские сыщики оказались проворнее польских. Наутро его привезли обратно в Сучаву. По дороге один провожатый открыл ему, что из того куска кожи, который после казни старшего брата был срезан у него с тела и вместе с головой отослан в Москву, там сшили кошель, доверху наполнили его серебром и прислали назад, в награду господарю.

Пару недель Анкудинов просидел под замком, дожидаясь своей участи. Его уже стало тошнить от страха, наконец Василий Лупа принял соломоново решение. Три года назад русский царь получил от него хороший подарок, теперь следовало ублажить турецкого султана, чьим вассалом он являлся. Поэтому второго князя Шуйского, свалившегося ему на голову вслед за первым, господарь отправил не в Москву, а в Стамбул.

– Это все правда? – с недоверием спросила жена, когда Шубин вслух прочел ей несколько последних абзацев.

– Да, – ответил он, слегка покривив душой.

Она уловила фальшивый звук, но копнула не в том месте.

- И про братца? И про крест со звездой? И про кусок кожи?
- Это – правда, – с облегчением подтвердил он и почему-то подумал о Жохове.

В папке у него лежало описание анкудиновской внешности. Оно было сделано в Посольском приказе и выдавалось выезжающим за границу русским купцам и дипломатам, чтобы они могли опознать самозванца, буде он им там повстречается.

Приметы были следующие: «Волосом черно-рус, лицо продолговато, одна бровь выше другой, нижняя губа поотвисла чуть-чуть». Лишь сейчас Шубин понял, что это портрет Жохова.

За стеной, как неотвязный кошмар, как вечный упрек ему, Шубину, тупо сидящему за машинкой, когда другие читают лекции в американских университетах или уезжают на ПМЖ за границу, звучала песня про трех братьев, ушедших искать счастье на три стороны света. Сын соглашался засыпать только под нее.

Потом жена пошла выносить мусор. Возле мусоропровода она немного поговорила с соседкой, которая осенью отдыхала в Анталии и до сих пор не могла этого забыть. Шубину тоже доводилось внимать ее рассказам. Соседка вспоминала Турцию как страну Офир, полную чудес и дешевых кожаных изделий. Сам факт блаженства эрозии не поддавался, но конкретные ощущения со временем начали выветриваться у нее из памяти. При попытке выразить их словами лицо ее становилось скорбным, как у младенца, в материнской утробе пережившего миллионы лет эволюции от тритона до человека, а теперь постепенно забывающего свой долгий путь к разуму и свету.

Вернувшись, жена взяла у него со стола несколько черновиков, чтобы постелить в мусорное ведро вместо газеты. На одном из них ей попало на глаза слово «Стамбул». Она вздохнула:

- Все ездят отдыхать в Турцию.
- Что ты этим хочешь сказать? – напрягся Шубин.
- Ничего нового. Знаешь, что говорила мне Жанна?

Это была любимая подруга, вовремя уехавшая в Америку. Последнее придавало особый вес всем ее высказываниям. За ними стояла мудрость человека, способного предвидеть ход событий.

– Она говорила, мужчинам нельзя позволять делать то, что им хочется, – сказала жена и понесла ведро на место.

Кот, задрав хвост, побежал за ней в надежде, что ему сейчас что-нибудь положат в его плошку. Он всегда на это надеялся, когда жена переходила из комнаты в кухню, а последнее время у него еще была иллюзия, что мойва, которой его теперь кормили, исчезнет как дурной сон и опять появится старый добрый минтай.

В записной книжке Шубин нашел номера четырех приятелей и начал обзванивать их, в надежде лишний раз убедиться, что у людей его круга дела идут не лучше, чем у него. Ни с кем из этой четверки он в последние месяцы не только не виделся, но даже не говорил по телефону.

Все четверо были дома, и про состояние их дел кое-что удалось выяснить. Один трудился над книгой «История каннибализма в России», другой сторожил автостоянку, у третьего жена работала в банке, поэтому сам он вообще ничего не делал в ожидании, когда к власти придет правительство национального доверия. Четвертый, считавшийся самым близким, с вызовом сообщил, что пишет остросовременный роман о Хазарском каганате, и, не прощаясь, положил трубку.

Прадед Шубина по отцовской линии носил имя Давид и фамилию Шуб, Шубиным стал дед-эпидемиолог, один из героев успешно защищенной внуком диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. После революции он полтора года проработал на западе Халхи, в районе Улясутая, где тогда свирепствовала чума. Оттуда дед вывез жену из семьи алтайских казаков, бежавших от советской власти в Монголию и выкошенных там чум-

ной бациллой. От этой бабки Шубину достались глаза и скулы с намеком на азиатчину. Так считала мать, хотя ее собственные предки, уральские крестьяне и горнозаводские рабочие, тоже были не без примеси татарской и угро-финской крови. Если собрать вместе всех шубинских пращуров, получился бы полный каганат.

Глава 5

Маленький цветок

12

Среди голых деревьев парка следы беглеца были отчетливы, но под елями, куда не доставал снегопад, становились все бледнее, пока вовсе не пропали в темноте. Все трое остановились, Сева втянул голову в плечи, ожидая как минимум подзатыльника. Хасан никому ничего не умел прощать, как некоторые не умеют плавать или ездить на велосипеде, но на этот раз обошлось. Гуськом двинулись обратно.

Хасан шагал первым, Ильдар – последним. Хасану он приходился двоюродным племянником и лишь позапрошлой осенью был выписан из родного аула. Отец сам привез его в Москву, когда собрали урожай в саду и завезли уголь на зиму. Ильдар всегда держал обе руки или на руле, или в карманах куртки. Правый матерчатый карман был вырезан, вместо него подшит кожаный. В нем лежал пистолет Макарова, за двести долларов купленный на Рижском рынке.

Сева шел за Хасаном.

– Приехали бы на полчаса раньше, – выговаривал он ему в спину, – взяли бы его у столовой. Ездишь на этой перделке. Светиться не хочешь, да? Брось, кому ты нужен! Купи иномарку, с запчастями теперь не проблема.

Близкое родство давало право на эту нотацию. Хасан был женат на его старшей сестре. Познакомились, когда тот служил в армии под Серпуховом, там и прожили почти тридцать лет. Сева преподавал в школе труд, сестра сидела в кассе на автовокзале, Хасан окончил техникум и работал в городской теплосети, пока при Горбачеве на него не упала партия поддельных киндер-сюрпризов. Внутри упрятаны были не те сложносоставные фигурки, за которые его внуки могли заложить душу дьяволу, а унылые пупсы с лицами членов последнего Политбюро. Хасан влез в долги, купил эти сохлые шоколадные яйца с бывшей политикой и переправил на почти забытую родину. Через месяц из них вылупилась машина, через год – квартира в Москве.

Сестра теперь сидела дома, протирала полиролью финскую мебель, учила по самоучителю арабский или пылесосила покрывавшие все стены и устилавшие пол афганские ковры. От них в квартире было душно и тихо, как в бункере. Даже в жару она выходила на улицу в чулках и черном платье с длинными рукавами, а недавно и сама перекрасилась в брюнетку. У нее появился кавказский выговор, а Хасан, последние лет двадцать чисто говоривший по-русски, опять обзавелся акцентом, как в юности. Две их дочери остались в Серпухове при русских мужьях, но внуков регулярно подкидывали деду с бабкой. Хасан водил их в мечеть на улице Дурова и дарил деньги с условием не покупать ниндзя-черепашек. Разведенного Севу он перетащил из Серпухова в Москву, снимал ему однокомнатную квартиру в Чертанове и платил зарплату. Зятя-пьяницы ни к какому серьезному делу не годились.

Временами Хасан проваливался в рыхлый снег по верхние крючки на ботинках. Удобнее было ступать в собственные следы, как Сева с Ильдаром, но он этим пренебрегал, не желая глядеть себе под ноги и принаравливать шаги на глазах идущих за спиной мужчин, хотя бы и родственников. Унижений без того хватало. Второй месяц над ним висел долг, грозивший пусть не смертью, но продажей московской квартиры и бесславным возвращением в Серпухов. Мысль о том, чтобы нищим уехать на родину, в расчет не принималась, это было хуже смерти. Он еще жил у себя дома, спал с женой, зарабатывал какие-то деньги, но чувствовал

себя бараном, которого не режут лишь потому, что с ним, когда был ягненком, любили играть хозяйские дети.

Комнату на Тверской-Ямской посылала ему судьба. Переехать в нее, а квартиру продать. Комната хорошая, в центре. Соседей всего двое, и удобно, что женщины. Обе пожилые, одинокие. У одной, Жохов говорил, рак. Умрет, можно будет расшириться за относительно небольшие деньги.

– Сейчас опять не заведется, – предрек Сева, когда показался силуэт машины у крыльца главного корпуса.

Он забежал вперед, велел Хасану с Ильдаром немного отстать, будто они сами по себе. На крыльце, дожидаясь результатов погони, стоял сосед Жохова. Сева завел его в корпус, достал купленное в метро удостоверение с глубоким золотым тиснением ФСБ на красной корочке, пальцами одной руки умело распахнул сразу обе створки, так же ловко закрыл и убрал в карман.

– Владимир Иванович, у меня к вам просьба. Насчет вашего соседа, – сказал он грудным голосом, каким раньше с ним говорил директор школы, если хотел от него внеплановой работы по хозяйству, а платить не хотел.

Сосед вспомнил про европий из ядерных реакторов, но промолчал. Разумнее было не испытывать судьбу. Кто много знает, долго не живет. Он надел очки и попросил разрешения еще разок взглянуть на документ. Сева опять раскрыл свою ксиву.

– В метро купил, – признался он с обезоруживающей искренностью.

– Что, правда? – насторожился сосед.

– Правда. Но печать настоящая.

– Как это?

– Картонажную фабрику приватизировали, там за такие корочки ломают по-черному. У нас в Первом отделе они в дефиците, а эти вполне кондиционные. Мы же бюджетники, приходится самим о себе думать.

На доске объявлений висело автобусное расписание. Сева оборвал уголок, достал ручку с плавающей в подкрашенном глицерине русалкой, черкнул номер.

– Пожалуйста, – произнес он с такой интонацией, что само это слово прозвучало как незаслуженный подарок, – если ваш сосед здесь появится, сообщите нам по этому телефону.

Сосед увидел первые три цифры и снова засомневался.

– Номер не лубянский. Это где-то в Чертанове?

– Точно.

– А почему?

– Всегда там было. Наш отдел, – объяснил Сева. – Звоните в любое время, я у себя допоздна. Это вам на жетоны.

Он вынул две бумажки по пятьсот рублей. Сосед взял их стыдливо.

– Много что-то.

– Останется – вернете. Язык, сами понимаете, распускать не нужно.

Простились у входа. Сосед заторопился к телевизору в холле второго этажа, чтобы на тамошнем вече отдать свой голос в пользу новостей по второму каналу, а Сева вышел из корпуса, сел в машину и сказал тоном человека, заслужившего право принимать решения:

– Поехали. Я дал ему свой номер, он позвонит.

Хасан выключил радио, говорившее про референдум. Ясно было, что сегодня Жохов сюда возвращаться не станет, пойдет на электричку. Можно его там перехватить.

– Давай на станцию, – велел он Ильдару.

Тот мягко, как дети берут бабочку или кузнечика, взялся за ключ зажигания. Лицо у него стало мертвым. Сева злорадно ждал, что опять не заведется, но завелось с одного оборота. Пока выруливали на центральную аллею, снегопад кончился. Ворота были открыты, правая створка

подперта ломом. Возле него лежала на снегу черная собака. В будке сторожа окно отливало синим прерывистым светом от горевшего за ним телевизионного экрана. Дальше лес зубчатой стеной обступил дорогу.

В лесу Жохов перешел на шаг. По дороге он идти побоялся, двигался по какой-то прогулочной тропинке. Сама она еще с осени исчезла в снегу, но ее изгибы, петляющие от прогала к прогалу, угадывались и даже смутно очерчивались в воздухе, словно были проложены теми, кому не обязательно касаться ногами земли.

За крайними елями открылся зимующий в сугробе трактор. Он истлел до скелета, гусеничные траки валялись вокруг, как обглоданные зверями и птицами богатырские кости. Об один из них, запорошенный снегом, Жохов больно ушиб пальцы на ноге. Он принял правее, выбрался на дорогу, перед этим зорко оглядев ее в оба конца, и зашагал по направлению к станции. Снегопад иссяк, прямо по курсу пробилась в тучах синеватая луна, с левого края изъеденная земной тенью. Идущая в рост, она сулила успех всем предприятиям, начатым в эту ночь.

Вокруг расстилались совхозные поля с островками сухого будылья на взгорочках. Впереди кучно чернели дома дачного кооператива, куда он вчера провожал Катю. За ними, невидимый отсюда, шел поезд, железный гул широко катился по заснеженной равнине. Электрички ходили, можно было добраться до Москвы.

Дорога уже втянулась в поселок, когда сзади, на подъеме, взревел автомобильный мотор. Жохов рванулся вперед и понял, что очутился в ловушке. По обеим сторонам тянулись глухие ограды, кое-где – с колючкой на гребне.

Машина поднялась на горку, его настиг свет фар. Он заметался, но спрятаться было негде. В мутной влажной мгле лучи делались плотными и объемными, вокруг них серебристый дым клубился во всю ширину стиснутой заборами улицы. Внезапно их линия оборвалась вниз, справа поплыл относительно невысокий штакетник. Жохов с разбегу перемахнул через него, плашмя бросился на снег и приник глазом к щели. Бесцветная в лунном сиянии иномарка, не сбавляя скорости, проехала мимо.

Он встал на ноги, отряхнулся, огляделся. Участок пустынно белел до самого дома, лишь справа лепился к ограде хлипкий сарай и несколькими жалкими пучками торчали в снегу голые прутья чего-то плодово-ягодного. Сам дом был не дачного типа. Бревенчатый, без фундамента, с плебейски-покатой крышей, щелястыми ставнями и забранными в дощатые короба углами, своей очевидной заброшенностью он вызывал в памяти покинутые уральские деревни времен укрупнения колхозов. Кирпичная труба завершалась ажурным жестяным надымником артельного производства, какие лет двадцать назад еще продавались в районных коопторгах. Иметь дровяные печи в дачных кооперативах разрешалось лишь избранным. Дом, видимо, принадлежал человеку с заслугами, но без больших денег. Сейчас он казался необитаем. Дорожка не расчищена, во дворе не видно ничьих следов, кроме птичьих. Снег на крыльце девственно бел, а на крыше слежался пластами. Вряд ли его хоть раз убирали за зиму.

Жохов поднялся на крыльцо, подергал дверную ручку. Дверь хлябала в косяках и, следовательно, легко поддавалась взлому. В соседних домах не горело ни одно окно. Возникла мысль заночевать здесь. Идти домой опасно, у Гены жена будет глядеть волком и говорить через губу, а ботинки промокли насквозь, задубевшая от пота синтетическая майка ледяной коркой лежала на спине. Из каждого ее прикосновения к впадине между лопатками рождалось предчувствие отвратительно саднящей носоглотки. Оттуда через пару дней воспаление опустится вниз, в слабые прокуренные бронхи. В его положении этого только не хватает.

Под стеной валялась ржавая скоба, оставленная тут добрым хозяином специально для таких, как он. Жохов ввел острие в зазор между косяком и дверью, надавил, поддел, и щеколда вышла из паза.

В сенях он тем же манером отжал другую дверь, ведущую в комнаты, но когда потянул ее на себя, почудилось, что внутри кто-то есть. В стылом воздухе нежилого дома таилась какая-то жизнь. Укромное суетливое движение ощутилось за порогом, упал короткий стучок, быстрый шелест выплыл из темноты вместе с шумом толкнувшейся в уши крови. «Крысы», – догадался Жохов, расслабляя стиснувшие скобу пальцы. Секундой позже в темноте щелкнуло, властный мужской баритон приказал:

– Стоять!

Сердце ухнуло, как на качелях. Жохов рванулся назад и с размаху угодил подборовьем в крюк на вешалке. Веко успело закрыться, но в глазу полыхнуло белым огнем.

Наружная дверь открывалась вовнутрь, он никак не мог нашарить дверную ручку.

– Стой, стреляю! – предупредил тот же голос.

Сквознячок из невидимого ствола прошел по спине, по затылку. Медленно, чтобы резким движением не спровоцировать того, кто находится в комнате, Жохов повернулся к нему лицом и замер. Перед ним светился во мраке крошечный зеленый глазок. Донеслось характерное пощелкивание вращающихся бобин. Один за другим ударили несколько выстрелов, но ему все уже стало ясно.

Пламя поднятой вверх спички удвоилось в круглом черном стекле. На стене, мотая свои копейки, чуть слышно шелестел электросчетчик. Пробки, значит, не вывинчены.

Он шагнул в комнату. Сквозь щели в ставнях сочился законный свет, постепенно в нем проступил знакомый трапецевидный контур, в сочленениях корпуса пробивалось еле заметное свечение электронных внутренностей. Этот одноглазый агрегат когда-то казался образцом элгантности. На стуле у окна стоял катушечный магнитофон «Яуза», ровесник его второй жены. Она была младше на четырнадцать лет.

Он вернулся к порогу и прикрыл дверь. Глазок погас, щелканье прекратилось. Магнитофон начинал работать, когда дверь открывалась.

Жохов отмотал катушку назад, убавил громкость и нажал клавишу. Записанный на пленку начальственный баритон, показавшийся уже не таким грозным, вполголоса вновь исполнил всю программу: «Стоять!.. Стой, стреляю!» Опять загревели выстрелы.

Он прикинул, не стоит ли все-таки двинуть на станцию. В доме оказалось холоднее, чем на улице. Ноги стыли в раскисших ботинках, в носу пощипывало, а от печки все равно никакого толку. Если даже повезет разжиться дровами, дым из трубы могут заметить соседи или сторож. Жохов собрался уходить, когда заметил в углу старинный обогреватель с открытой спиралью. Она стремительно стала наливаться краснотой, стоило воткнуть вилку в торчавший из розетки тройник. Потянуло теплом, мелькнула мысль об электроплитке и чайнике. На водопровод в таком доме надежда была слабая, зато чистый снег лежал прямо на крыльце. В Тибете простуду лечат кипятком из талого снега.

Бобины продолжали крутиться. Пальба кончилась, из шипения пустой дорожки воспарил надрывающий сердце голос саксофона. Тихо, медленно и печально зазвучало танго «Маленький цветок», под которое они с будущей первой женой танцевали на институтских вечерах. Недавно она звонила ему похвастаться, что отдыхала в Анталии.

Это была мелодия без слов. Ее чистой волной смыло память о неудачах последних дней. Все ушло, затянулось наркотической дымкой, но, с другой стороны, невозможно стало понять, почему он сидит на полу в чужом доме, совершенно один, как погашенный лимитированный чек на столе у операциониста. Кто-то невидимый ежедневно производил списание со счета его спокойствия, грозящего скоро дойти до дебитового сальдо. Смешная отцовская жалоба идеально ложилась на музыку «Маленького цветка». Маленький, совсем маленький! Никому не нужный, упрямо торчащий среди polegших под первыми заморозками собратьев типа Гены. Жохов прикрыл глаза и, раскачиваясь из стороны в сторону, тихонько заскулил, как от зубной боли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.